

ВЛАДИМИР КРЮКОВ



*Заметки
о нашем
времени*

Владимир Крюков

ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

Книга воспоминаний

ББК 84(2 Р) 6
К 85

Крюков В.М.
К85 **Заметки о нашем времени.** Книга воспоминаний.
Томск, 2014 г. 352 с.

ББК 84(2 Р) 6

Сказать, что эта книжка дописана, я не могу. Она не может быть дописана, она завершится вместе с моей жизнью. В ней – прошлое, которого не вернуть. Но, думаю, в меру сил его надо воссоздавать. Надеюсь, это нужно не мне одному. Потому тексты я несколько самонадеянно называю «Заметки о нашем времени», полагая, что найдутся те, кто разделит моё мироощущение. И всё-таки не обойдусь без первого лица, чтобы не стали эти заметки общими.

Некоторые нынешние мемуаристы как бы восстанавливают статус-кво: персонаж вспоминает, каким он был большим и значимым. Мне этого не надо. Как был никем в социальной градации, так и остался. Я не хочу лишнего наговаривать на режим, сваливать на него собственную лень. Я с ним не тягался, мы старались не замечать друг друга, до поры до времени, понятно.

Я вспоминаю время, моё частное время. У каждого образ времени – свой. И не для всех это была пора упущенных или утраченных возможностей.

Что же меня иногда томит, что ли? Или настигает странной тоской? Нежелание признать своё поражение в этой жизни? А что, я мечтал быть победителем? И как бы это выглядело? Нет-нет. Просто, мне думается, это вполне объяснимое, естественное желание: уходя, увидеть свою жизнь не совсем напрасной.

«У тех, кто рано умирает, есть свои преимущества: им, например, не приходится писать воспоминания», – прочёл я в одной статье Александра Кушнера. Что ж, в силу возраста я лишён и этого преимущества.

МОЯ РОДИНА

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
И прошу тебя, как брата,
Душу не мути...

Геннадий Шпаликов



Село Пудино. Слева — дом, где я жил. Далее — так называемые Большие Дома.

Это я сегодня, в 2013-м, прилаживаю строки Шпаликова эпиграфом к моим заметкам, написанным в разные годы, частично даже и опубликованным в местной периодике. Разбросанные по нескольким записным книжкам, но, слава богу, сохранённые, здесь они впервые сведены под одним, прямо скажем, расхожим названием. Но ведь каждый наполняет его своим содержанием и тогда оно звучит свежо и неповторимо.

Я начинаю с записок марта 1980 года, сделанных, что называется, «на коленке», прямо там, на родине, вечером накануне отлёта. Прилетал я туда по командировке областного радио, где тогда работал. Сделал пару материалов про сверхглубокие скважины, про зарождение города Кедрового. Судьба моего села, как и положено, никого не волновала.

Но поездка эта помогла мне теперь уже не забывать о родине, собирать то, что попадало в руки, что касалось этих мест и людей, там живших и живущих. Вдруг уже в середине 90-х из Пудинской школы попросили прислать мои книжки, а их и было-то две тощеньких. Но послал с благодарностью за память, и посылал все потом выходящие. Из ранних детских впечатлений возник рассказ «Большая река», а другой рассказ – «Дом» содержит отчасти мою семейную историю.

На протяжении лет я записывал (довольно бессистемно) то, что вспоминалось, возникало в разговорах, обнаружилось в полевых записях учёного-этнографа. Я благодарен моему земляку, окончившему тот же историко-филологический, Василию Демешкину, который постоянно напоминает о нашей ро-

дине , то присылая старый снимок с комментарием, то рассказывая случаи из тех давних лет.

ПОЛЁТ В ПУДИНО

(март 1980)

«Когда эта ко́за доедет до воза», «Лез я с пёчи да ветер встречу» – такие прибаутки выдавал старик в самолёте, словоохотливый и остроглазый.

Самолёт летел так долго, такой нескончаемый полёт, не верилось, что когда-то долетим. А когда сели на снежное поле, где домик «Аэропорт Пудино», не поверилось – неужто так быстро можно вернуться на десятилетия назад. Неужели вот она, родина? Какая необъяснимая сила заставляет волноваться? Ну отчего, казалось бы, отчего?

Неистово гремющая гусеничная сволочь – вездеходы. Бодрые плакаты «Томскую нефть – Родине!». Иду, вглядываясь в лица, но всё незнакомые (а какими они должны быть?). И первое, что приходит в голову – не местные. А потом спохватываешься – это ты уже не местный.

Я шёл наугад, зная лишь общее направление, и видел эти обычные деревенские дома с мартовским снегом на крышах, с тёмными пятнами таяния, с дровами у калиток ...

Я смотрю из окна пудинского дома спустя тридцать лет после рождения и двадцать лет после отъезда отсюда. Я жил в нём с бабушкой и тётёй. А сегодня тут живёт тётина подруга Евдокия Демьяновна Литвиненко, у которой я остановился. Обычный вид – снег, сырые бревенчатые стены соседнего дома.

Всё обычно, буднично. Но что-то говорит мне о некоем долге перед этим снегом, домами, тополями. Как это объяснить? Сделай что-то, раз ты шевелишь пером, чтобы это осталось.

Двадцать лет назад я уехал из этого села. Родители перебрались в город. Закончил я тут три класса у Марии Никитичны Колбиной.

Вдруг через много лет в газетах возникло «Пудино». И стали писать что-то вроде «новь старого села», «рёв мощной техники огласил дремавшие перелески». В пластах палеозоя геологи обнаружили нефть. Обрисовали потрясающие перспективы. И попёрли по зимнику разные грузы, и я ревниво следил, как склоняли имя моего села. Ничего не говорилось, конечно, о тех, кто ставил здесь дома. О тех, кого железная рука захватила в горсть и бросила с насиженных мест сюда, за тыщи километров от привычного и дорогого уклада. И как за милость можно благодарить, что не отняли холодное оружие – топоры. О, эта русская душа. Срубили первые избы, чуть подросла деревня, и назвали её в честь Всероссийского старосты – Калининск. Странно? Может быть, и не так странно. Наверное, Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин так же смиренно воспринял, когда у него по ложному навету увели жену, и появлялся он рядом с подлецами в Колонном зале...

Тогда в газетах ничего не было о наших дедах-бабушках, о юности-взрослении наших матерей и отцов, о том, как отцы, ошельмованные этим государством, пошли воевать, как наши матери, надрывая пупы, пластались на колхозных полях для фронта, для победы.

А сегодня газета писала о новых людях, о буровиках, о тех, кто собрался «преобразить» этот край, и для меня это звучало убийственно.

И вот подвернулся случай и можно побывать там. Там, где меня никто не помнит, но куда манит пресловутое чувство родины, что ли.

Самолёт за два с небольшим часа перенёс нас – десять человек – сюда, за полтыщи километров. И я подумал, как преодолевали это расстояние те люди – полвека назад.

А потом приземлились. И протекли несколько дней, которые бередили душу, уже почивавшую месяцы и годы. Началось с отрицательных впечатлений с дороги от аэропорта к селу. Сколько по ней двигалось всякой железной нечисти – и вездеходов, и Камазов, и Белазов, и Беларусей и громадных Зилов. Такое могло только в кошмарном сне присниться. И дальше – кучки мазутных людей, то там, то здесь, у домов, приспособленных для себя, а мне памятных совсем другим: тут была милиция, там библиотека. И наконец, стрележские дорожники облюбовали под гостиницу дом, в котором прошли мои самые первые годы. Подошёл к двери, совсем обветшалой, посеревшей от дождей, ветров, солнца, да и разбитой, и стало твориться что-то, чего не объяснить. И тоска, и грусть – просто как сквозняком её потянуло из сердца. А горло, её не выпуская, закрылось спазмой. Боже, какое запустение. Вторая половина дома – там аптека была – оказалась не нужна. Окна там выбиты, у прекрасных печей-голландок вьюшки, как языки, выдраны. И дверцы подтопочные тоже. Полы сняты, под ними полусгнившие лаги. Что ж, и правда, сдал

дом, отслужил. Не реликвия же он, в самом деле. Но не успокаивают, не утешают такие слова, которые я говорю про себя. Наша половина дома на замке, и нельзя взглянуть на свои комнаты. Окна задёрнуты занавесками, одно завешено одеялом. Двор неухожен, бесприютен, угрюмая поленница дров прямо посередине его и полузамётённая тропа к туалету. А вот лестница на чердак – основательная лестница на просторный чердак – цела. И я поднялся по ней до площадки, а с площадки вошёл в тёмное пространство, засыпанное птичьим помётом, старыми бумагами, битыми бутылками. Да к чему это? Повернулся и, спускаясь, вспомнил, как высоко это казалось в детстве. Как это душу раскачивало. А во сне виделось, что именно с этой площадки шагаю я вниз и лечу над родным селом.

А сегодняшний случай, забросивший меня сюда, был таков, что нужно было с утра познакомиться ближе с этими, прибывшими сюда изменить лицо моей родины. Утром я подошёл к базе управления разведочных работ, она расположилась на окраине села. Энергичный, невысокий и коренастый человек несуетно отдавал распоряжения. И они исполнялись. Грузились и отходили машины, люди раскатывали кабель, несли доски. И вот всем этим вёсёлым, красным людям, подумалось мне, дела нет до прошлого, которое меня не оставляет. Они все в настоящем. Ну и в ближнем будущем, о чём и говорит суровый плакат «Мы покорим тебя, палеозой». И палеозой, видимо, трепетал.

Я представился начальнику инженерной службы – этому самому энергичному человеку. Прошли в ва-

гончик, в его кабинет. Там несколько человек горячо обсуждали что-то. И один рубил ладонью по столу: «А если не член профсоюза, скажи ему, отпуск переносим на зимние месяцы, очередь на квартиру – в конце, на детсадик то же самое, ну и на мясо и так далее». Начальник пообещал, что скоро пойдёт автобус на буровую, и мне можно будет познакомиться с рабочими на месте. Я спросил его, не по дороге ли это к Калининску.

– А вы эти края немного знаете? – спросил он встречно.

Я объяснил, что имя деревни дал мой дед по матери. Вернее, предложил переименовать. Старые поселения были малочисленны, названия свои получали по фамилиям первопоселенцев – Коровино, Гонохово, Останино. Здесь, скажем, жил охотник Собакин с сыновьями, и звалось местечко Собакино. Ссылные отстроились, деревня выросла на десятки дворов, и тогда на сходе получила новое имя – Калининск. Было это в 1931 году.

Оживились, слушая мою историю, начальник и люди, которые тут были. И возникло потепление. И вот мне уже, должно быть, не первому рассказывают, как звонил один геолог в райцентр первому секретарю райкома по какому-то делу. И на том конце провода ответили: «Конюх слушает». А начальник закричал: «Какого хера ты берёшь трубку, мне первый секретарь нужен». А оттуда был ему голос: «Секретарь райкома Конюх слушает». Человек, слава Богу, с должным чувством юмора относился к своей фамилии. Говорим ещё о чём-то, и я замечаю, мне открывается, что это деловые, работающие люди, и началь-

ник обретает имя – Вениамин Петрович. (Вениамин Петрович Стенников – начальник центральной инженерно-технологической службы). И суровость его несколько напускная, он и меня научает: «Вы с буровиками понастырнее, видите, какие мы люди грубые». Звонит один телефон, звонит другой, стоящий рядом: готов автобус. И мы едем на буровую.

Там у меня собеседники такие. Вениамин Константинович Бархатов, начальник буровой № 16 Калиной площади. Асхат Янарович Файсханов, буровой мастер. Владимир Николаевич Лучинин, бурильщик. Спрашиваю, как учили: какой процент выполнения нормативного задания у вашей вахты? От чего зависит достижение хороших показателей? Узнаю, что коллектив приступил к бурению 19 июня 1979 года. На сегодня пробурено 3 532 метра горных пород. Три месяца не было промежуточных колонн и цемента, а так были бы гораздо глубже. Потом бригада занималась не совсем своим делом: сами вели разгрузку цемента, складировали обсадные и бурильные трубы. Сказывается некачественный ремонт турбобуров. Они должны быть на забуре от 50 до 100 часов, а порой выдерживают в работе всего 10-20. Такие остановки съедают время.

Председатель Пудинского сельского Совета Андрей Алексеевич Зайцев, калининский житель. 25 лет в школе, теперь здесь. Сквозь Калининск прут «Ураганы», «Татры», другая тяжёлая нечисть. Когда они проносятся, жители боятся, не повывлетали бы стёкла в окнах. Если это преувеличение, то невеликое.

Но у буровиков одна несомненная заслуга перед жителями – в Пудино пришло телевидение.

Собака лаяла с подвизгом, и показалось мне, что именно здесь, в моём селе, она тоскует, как и я, по невозвратному прошлому.

Фаина Ивановна Козюберда приехала сюда из Ярославской области. С 1951 года работала она в Рогалёво, Таванге, Пудино. Бессменная акушерка. В половодье – верхом. Это сейчас вездеходы да вертолётны всегда выделит начальник Васюганского управления буровых работ Беловидов. Была Фаина Ивановна и председателем профсоюзного комитета больницы, и секретарём парторганизации. А то и одновременно. «Мама, так ты и верхом умеешь?» – оживляются Оля и Наташа (четвёртый класс). «Умела, когда надо было», - отвечает Фаина Ивановна.

И вот только начал находить гармонию с этими домами и деревьями – пора уезжать.

Как будто строка будущего стихотворения пришла: «Задремал он в дремучем лесу».

Хожу, сопровождаемый Евдокией Демьяновой Литвиненко, с невесёлой миссией – сообщать о смерти материной сестры Евдокии Дмитриевны Смоляковой, моей тёти Дуси.

Мария Семёнова сбрасывает снег с поленницы, слезит оттуда медленно и, подходя, ворчит: «Ну и коряга. Когда на кедры лазила, так не уставала». Я рассказываю, что умерла тётя Дуся. Она: «Да мои

ж вы хорошие! А я недавно карты кинула – выходит мне разговор с червонным королём. Ну с кем это, я думаю. А оно вон как. А Дусина карта – я и на неё кидала – так хорошо легла. Я и думаю, хорошо, значит тебе, Дуся. Потом туз упал червей – казённый дом. А это, значит, гроб был». Евдокия Демьяновна советует ей режим соблюдать в еде. А Мария: «Ну а жить-то тогда зачем. Того нельзя, этого нельзя. Наголодались, было. И так жизнь не в радость. Ничо, кажется, не надо. Мать только и удерживает». Дома у неё лежит мать девяноста пяти лет, болеет. Она говорит Марии: «Хоть бы ты до моих лет дожила», а Мария: «Да не дай Бог!».

Тётя Катя, соседка моей тёти Дуси, всплескивает руками: «Да что вы!». И помолчав, говорит тихо: «Вообще плохо, когда люди умирают. А тут ведь столько лет бок о бок жили. И мать моя, и Дуся – они же много читали. Как соберутся, так и давай перебирать, кто что почитал, кому что понравилось»...

На улице встретила мне легендарная тётя Шура. Я узнал её и остановился. А когда сказал, кто я есть, она закричала: «А-а, Танин Вовка! Ну, поди и женился уже?». Я кивнул. «И-и, надел ярмо!» – опять закричала она, уставив в меня палец. Тётя Шура всегда считалась бабой с придурью, может, так оно и есть. Но смотрю я на неё прямо с любовью как на бессмертную душу этой улицы, этого села. Как помню, четверть века назад выглянул я в окно, услышав зычный её голос. И меня ужаснуло известие. «Брыкин застрелился!» – кричала она. Была тётя Шура ещё далеко, и, шагая по улице, вновь и вновь повторяла свою фразу. И люди выходили, а она дальше несла

печальную и страшную новость. Застрелился наш военком Брыкин, два его сына были почти мои ровесники, один-то точно был в параллельном классе. И отца я встречал – серьёзный такой человек.

Тётя Шура – латышка. В нашем селе с 1941 года. Сейчас ей 79. «Не болеешь, тетя Шура?» – спрашиваю. «Ну как же, Вовка. На 62-м году было крупозное воспаление лёгких – дней десять в сознание не приходила. Врач наша уже говорила: «Уходит от нас тётя Шура». А я вот не ушла. Сейчас квартира отдельная, кровать, сервант – только жить самое время, а время-то, наверно, не осталось».

Альма Яковлевна, милый с детства человек, лучшая подруга моей тёти Ксении (тётка по отцу). Вспоминает, как съездила на родину, в Бессарабию: «Я думала – с ума сойду. Ходила и плакала, плакала. Подошла к дверям своего дома: всё моё, а люди чужие... Когда начинали людей брать, мы знали, что ночью приходят и ночевали у тёти. Они и пришли ночью, весь свет в городе отключили и всех забрали, и отца с матерью увезли. Мы утром вернулись, а те у нас дома ждут. Разрешили пройти в квартиру, собрать кое-что, говорили, что нас отвезут и отца с матерью отпустят. И прошла ещё ночь, а наутро – война. И всех по вагонам без разбору. И повезли. И сразу – на край света».

Представьте: вчера ездила Альма Яковлевна в Румынию, Австрию, училась в Венском университете, и вот – деревня посреди тайги. А там, далеко, за тысячи километров просторный особняк, родня. Брат мужа как-то не попал в советские лапы и, когда во-

шли немцы, перебрался через Европу в Америку, поселился в Нью-Йорке.

Альма Яковлевна Секлер. Пудино, Ленина, 36
Тел.2-18.

Вот так ходил и надрывал сердце.

Старик взял письмо не то, чтобы пальцами, а как-то всей пятернёй, горстью и запихал в карман своего истёртого полушубка. Вышли с почты вместе. «Вот и объясни, – сказал он, не ожидая моего ответа, а так, для себя. – Вот и объясни, почему расценки разные. Ведь всё одно, что везу во Львовку, что в Рогалёво».

Написать бы про это поколение насильственно свезённых, про их отношение к земле, к своему новому для них краю, про отношения с теми, кто здесь поселился раньше. И эти добровольно прилетевшие проводники прогресса, новой жизни, представители главной государственной отрасли – нефтяной. Про их отношение к селу.

Старожил (не стал называть фамилии): «Отдали под ихнюю базу Гонохово. Мы ведь там когда-то корчевали всё по пеньку, расчищали под пашню. Сейчас проехал: там труба валяется, здесь труба – какие там хозяева! Влезли в бор, пластают деревья. Пилораму поставили, разделявают, как будто так и надо, вроде в какие дикие края явились. Лесник к ним и так, и эдак – никакой у них лицензии. Выписывает им штрафу пять тысяч. А для них это рази деньги. Выплатили – и дальше давай».

Самат Салихович Арсланов, начальник базы производственного обслуживания Томского управления

разведочного бурения, когда я ему передал этот рассказ: «Да ну уж, это они погибают. Наговорят, хоть мешок завязывай. Ну было поначалу, пока ничего не знали, не разобрались. А потом-то всё как надо».

На этом обрываются записи весны 80-го года. Не стал я их завершать, оставил, как есть. А сейчас, наверное, самое место для истории моего села.

ЖИЗНЬ ЗА БОЛОТОМ

Во время сплошной коллективизации 1930 года по решению Советского Правительства многие жители нашей страны были лишены гражданства и направлены на спецпоселения. Одним из мест спецпереселения стал Нарымский край. «За болото» люди ссылались в основном из Новосибирской области и Алтайского края – бывшего ЗапСибКрая, а также с Украины, из Молдавии, Прибалтики. Родители моей мамы были высланы со станции Татарская (между Новосибирском и Омском), где был у них хороший дом и крепкое хозяйство. А туда бабушка с родителями приехала из Рязанщины по столыпинской земельной реформе.

Район ссыльного переселения находился посреди тайги, непроходимых болот да рямов, с полчищами комаров, паутов, слепней, мошки и прочего гнуса.

По местам расселения выросли деревушки: Львовка, Шерстобитово, Кулики, Ляшкино, Красный Яр, Коровино, Дудино, Лушниково и много других. Основным стал поселок Пудино, получивший позднее статус районного центра. Пудино получило

своё название по фамилии остяка Пудина, который ещё до революции держал там лавку, и все окружающие остяки и остальное население сдавали ему пушнину, дичь, кедровый орех, ягоды и другие дары тайги.

В книге «Земля Парабельская» (сборник научно-популярных очерков к 400-летию Нарыма. Томск, 1996) я опубликовал фрагменты полевого дневника известного историка и геолога Доната Порфирьевича Славнина «На Парабели в 1957-м».

Среди прочих записей там встречается упоминание о моём родном селе Пудино. Исследователь записал рассказ старого охотника-остяка Ивана Васильевича Кундина: «Прежде в вершине Парабели купец Пудин сидел. Он из Томского поднимал паузки до 1000 пудов с разным грузом, главным образом муку, соль и охотприпасы. В гражданскую войну красные устанавливали власть «снизу» и «сверху». Сверху шёл Михайлов. Встретились они в Пудино. Там жил Пудин и держал магазин, а также Мошковский – тоже купец, другие оседло не жили, русских не было.

После короткого суда Пудина и Мошковского закопали под подбородок в мёрзлую землю (дело было зимой), а чтоб не шевелились, землю утрамбовали ногами. Закопаны они были недалеко один от другого, лицом друг к другу. Ямы копали сами осуждённые. Потом красные сказали: «Поговорите между собой напоследок, как тут жили» и дали им закурить. Но какой курить, когда они и дышать не могли? Папиросы выпали у них изо рта. Красные не велели нам подходить. Вечером жена Пудина попросила взять труп мужа, ей разрешили, сказав: «Бери, кому он нужен мёртвый».

Старые посёлки были малочисленны. Так, в Коровино проживало три семьи Киндина Клементьевича Коровина да две семьи Смирновых. Киндин Коровин был зятем Ксенофонтия Смирнова. Все семьи были староверами (кержаками). В домах висели медные иконы. Сами они табак не курили и курящих в дома не пускали. Даже напиток из своей кружки чужому не давали. За посёлком на ручье, что впадал недалеко в реку Чузик, была у них водяная мельница. Была она довольно примитивной, но всё же лучше, чем ручные деревянные жернова. Старожилы занимались земледелием, охотой да рыбной ловлей. Рыбы было много и в Чузике, и в озёрах.

Мой отец тоже был из семьи староверов. Брат его отца приезжал в эти места раньше, потом вернулся на Алтай и убедил ближних сниматься и ехать «за болото». Чувствовал, что власть зажиточных мужиков в покое не оставит. Это переселение было добровольным, они к нему хорошо подготовились. И на своих конях добирались, и скарб не растеряли. И ещё впоследствии это имело результат. Они были свободными людьми, насколько это возможно при той власти. Отец, сын свободного переселенца, пользовался доверием власти. Дорос до колхозного бригадира, а когда грянула война, был ограждён так называемой бронью. Но спасительной льготой своей не воспользовался, пошёл на фронт добровольцем. Вернулся живым и почти невредимым.

В 1930 в Пудино появилась школа. Позднее были построены крахмальный и маслобойный заводики. В Пудино отстроили больницу, аптеку, ветлечебницу.

Все грузы доставлялись зимой на подводах из

Томска или Барабинска. Весной же, по большой воде – из Парабели до Скита – на баржах. Летом, по мелкой воде плавали до Парабели на больших лодках, крытых тёсом. Только в 1935 году промкомбинатом был приобретён небольшой стационарный лодочный мотор четырёх лошадиных сил мощностью, поставленный на небольшую лодку. Эта лодка буксировала за собою ещё две лодки с грузом от Парабели до Пудина.

Мой земляк Виктор Степанович Арнаутков родился в 1951 году в Пудино. Жил в Красном Яре и Калининске, закончил Пудинскую среднюю школу и работал учителем начальных классов Калининской и Львовской школ.

Сейчас он живет в Кемерове, член Союза писателей России, пишет прозу, в которой возникают пудинские места. Арнаутков записал воспоминания своего дяди – А. А. Шадрина, жившего до 1942 года в Калининске, откуда он был призван на фронт. Воевать ему довелось и под Сталинградом, и на Курской дуге, и на Днепре. После войны до самого выхода на пенсию служил в МВД и жил в Новосибирске.

Вот что вспоминал Александр Аввакумович Шадрин:

« В 1933 году Промкомбинатом был приобретён локомобиль английского производства, работавший на дровах. В посёлке Останино была построена паровая мельница, дробившая зерно на простой размол. Уже с 1935 года локомобиль использовали для обмолота хлеба передвижным способом в посёлках Пудино, Калининск, Красный Яр и других деревнях. Перевозили его на четырёх лошадях. В 1934-35 годах

кочегаром на локомотиве работал и я, получая в месяц 60 рублей зарплаты. Зерно мололи в зимнее время.

Несколько позднее рядом с мельницей была построена лесопилка, распускавшая лес на плахи и тёс. Этот же локомотив летом использовали на лесопилке. Зимой колхозы занимались и лесозаготовками, увязывая лес в плоты в посёлках Скит и Павло-Юдино, а весной, по большой воде, плоты сплавляли до Парабели. Каждому колхозу доводился план лесозаготовок.

Для колхозных нужд и по разнарядкам приходилось заниматься и побочными делами. Так, в колхозе «Культура Севера» уже с 1934 года вырабатывали кустарным способом дёготь в ямках. Дегтярём был старик с грубым голосом, никогда не выпускавший изо рта самокрутки из самосада, славившегося на всю деревню – Филипп Мусатов.

Потом, оставшись без работы, дед Мусатов в летнее время стал заниматься изготовлением веревок из льна для колхоза. Около его избы было сделано приспособление для пряжи веревок: большое деревянное колесо с ручкой, которое соединялось с роликом ремнём. Его старуха, бабка Анна, полная грузная женщина, сидела на табуретке и крутила колесо. Дед Филипп, обвешанный вокруг пояса льном, зацеплял прядь льна за крючок вращающегося ролика и, пятясь назад, отходил метров на пятьдесят вдоль забора. Несколько напряденных нитей свивал в одну верёвку. Из веревок делались вожжи, постромки, чиресседельники и прочее необходимое в хозяйстве.

Вспоминается история о том, как дед Мусатов в

Пудине тушил пожар. На летний период из колхозов, расположенных вблизи Пудина, назначались понедельно в пожарное депо дежурные на круглые сутки – мужчина и два подростка с двумя лошадьми. Дежурить командировали деда Мусатова с подростками. Как-то вечером в пожарку прибежал пудинский житель и сказал, что на краю села, за школой, около кирпичного завода пожар.

Согласно инструкции, дед Филипп должен был подняться на каланчу, уточнить место пожара, быстро запрячь телеги и следовать для его ликвидации. На одной телеге был поставлен ручной насос, на другой – бочка с водой. Дед же сел верхом на лошадь и поехал уточнять: действительно ли имеет место факт пожара. Пожарное депо и каланча находились в центре Пудина. До места пожара получалось около двух километров. Пока он доехал, выявил, что горит баня, вернулся обратно за средствами тушения, тушить уже было нечего, баня сгорела.

За этот случай дед Филипп получил нагоняй от начальника пожарного депо, а за ним на всю оставшуюся жизнь сохранилась кличка «Пожарного тушили».

Я в детстве слышал это сочетание «Дед Мусат». Моя неулыбчивая, изболевшая бабушка Марфа, оживала при упоминании его имени, тихо смеялась вместе со своей гостьей или подругой. Видимо, он был героем многих подобных историй.

В газете города Кедровый с названием, разумеется, «В краю кедровом» печатались фрагменты истории моего родного села. Вот, например, в №4, 28 января 2000 г.

«После окончания 7-10 классов в Пудино молодёжь разъезжалась на учёбу в основном в Томск в техникумы и даже в институты. Так, из калининских учиться уехали ещё до войны Ковшаров Иван, Коляденко Сергей, Смолякова Таня, Краснова Нина, Клавина Вера, Шадрин Евгений. Последний закончил Томский политехнический институт, аспирантуру, одним из первых защитил кандидатскую диссертацию, и уже в 50-е годы заведовал кафедрой тепловых электростанций».

Упомянутая Таня Смолякова – моя мама. Она закончила в Томске фармацевтическое училище (вспоминая, ласково назвала «фармочка») и вернулась в Пудино. Село разрослось и сделалось райцентром, и мама стала заведовать аптекой, куда я любил заходить: шкафы со стеклянными дверцами, белые халаты аптекарей, чашечки весов на шелковых нитях: в одну чашу – составляющие для лекарства, в другую – гирьки и тонкие пластиночки с обозначением веса от грамма и меньше.

Ещё один из этого перечня – Евгений Шадрин, её одноклассник. Мама, понятно, звала его Женька Шадрин и читала мне стихок, написанный им, когда отмечали в школе столетие со дня гибели поэта (1937):

*Дорогой товарищ Пушкин,
Жаль, что с нами не живёшь:
Ты писал бы нам частушки,
Их бы пела молодёжь!*

Там же: « В июне 1942 года из Калининска ушли защищать Родину сразу 23 человека. Многие девчата были мобилизованы на заводы в Новосибирск: Смо-

лякова Д., Григорьева Н., Семёнова М. и другие».

Д.Смолякова – это родная сестра мамы, тётя Дуся. Прожила она непростую, одинокую жизнь. Мы уехали из деревни. А она осталась. Впрочем, о ней, и о моей любимой бабушке Зинаиде Петровне я написал в рассказах и не хочется здесь повторяться. Обе они – люди удивительной доброты, терпимости к окружающим, готовые простить маленькие слабости и не отвечающие на обиды людей склочных и завистливых.

«В краю кедровом», №8 (732), 24 февраля 2005 г.

«С 75-летием со дня рождения, с юбилеем, родная школа!

Больше всех проработала в школе учителем, а также и дольше других директоров возглавляла школу Нина Петровна Абакумова. Ей слово.

...Талантливая, полностью отдающая себя работе Мария Никитична Колбина. Взять после неё класс – это была большая честь. И Андрей Алексеевич Зай-



цев, тогда директор школы, тщательно подбирал педагогов, чтобы не дай Бог, не разрушить того, что создала Мария Никитична».

Мария Никитична – человек в моей жизни этапный, важный, незабвенный. Я пришёл в школу из-под бабушкиной опеки, привык к нашему с ней тихому общению.

Были, понятно, у меня друзья-приятели, мы гоняли железные обручи, катались на санках и зимних самокатах, доска у них обливалась водой с конским навозом, замерзала, и эта поверхность хорошо скользила и не сразу снашивалась на дороге. Мы, конечно, шумели и кричали. Но от обилия детей в школе я сразу обалдел.

Недавно я прочёл, что рассказывала Александра Андреевна, мать Блока, о детстве сына и поразился: удивительно похожая ситуация. До школы он жил уединённой семейной жизнью, почти не встречаясь со сверстниками, если не считать двоюродных братьев Кублицких. Придя первый раз из гимназии, он был внешне сдержан, но явно взволнован. Мать стала его расспрашивать, что же там было в классе. Он долго молчал, потом тихо сказал: «Люди».

Я не знаю, как бы вживался в новые обстоятельства, если бы не Мария Никитична, моя первая учительница. Мне кажется, она понимала каждого ребёнка, принимала его особенности, была спокойной и мягкой, сразу стала нам родным человеком.

Я закончил в родной Пудинской школе только три класса. И приехал на свою родину через двадцать лет. Мария Никитична Колбина уже не работала в школе, но память сохранила отменную. Не позволила мне представиться, только спросила год поступления и сразу назвала меня по имени-фамилии. И посейчас вспоминаю её с любовью и благодарностью. Жители нашего села по преимуществу были из ссыльных – раскулаченные, которых пригнали «из Сибири в Сибирь», то есть, омские, алтайские. Ещё немцы, латыши, евреи, молдаване. Для Марии Ники-

тичны все мы стали просто её учениками – равными среди равных, и для каждого находила она особые, поддерживающие слова. Не помню, чтобы кого-то хоть раз обидела. Доброта осталась для меня главным качеством учителя начальных классов, именно это я хотел найти (и слава Богу, находил) в педагогах, которые усаживали за парту моих детей.

Евдокия Акимовна Пестерева написала историю семьи Снотовых, назвав свой труд « Судьба семьи в судьбе страны». В центре – Мария Ивановна Снотова. Родители из переселенцев по столыпинской реформе. Потом решили уехать из Сибири, но Гражданская война заставила возвратиться во Львовку (это пудинские места). Голодный колхоз. Чтобы не быть обузой матери, она с младшим братом Фомой ушла из дому. Жила в соседних деревнях, потом повезло – взяли машинисткой в отдел социального обеспечения в Пудино. Далее – её рассказ.

« Своего жилья у меня в Пудино не было, и спала я одно время на чердаке у одной многодетной женщины, пока меня не приютила семья Крюковых. Их отец – Крюков Афиноген – участник первой мировой войны (1914-1918) попал на фронте под газы и по возвращении домой скончался. Семью содержал Михаил Афиногенович, работавший в то время в райпо (торговой потребительской кооперации). В этой семье я подружилась с Ксенией Афиногеновой, моей одногодкой, которая впоследствии закончила мединститут и получила звание Заслуженного врача РСФСР».

Моя тётя та самая Ксения Афиногеновна (толь-

ко она писала отчество Анфиногеновна, так и в документах было. И у отца тоже с «н») не теряла связи с Марией Ивановной.

Тётя Ксения меня любила, она меня растила и воспитывала вместе с бабой Зиной. Так получилось, что жил я у них, а они жили через дорогу от родителей. Тётя Ксения закончила медицинский институт. Была хорошим терапевтом, государство её отметило по заслугам. Бывала она, кажется, и секретарем парторганизации своей больницы.

В первые дни 1969 года я приехал в этот районцентр Мельниково (Шегарка), где она жила-работала и рассказал, что нас – троих сокурсников – отчислили из университета, куда так не просто было поступить. И вытряхнули нас за сочувствие чехам, затеявшим у себя обновление, задумавшим устроить «социализм с человеческим лицом». Слишком задорно говорили мы об этом своим товарищам, слишком восторгались и фильмом «Старики на уборке хмеля» и манифестом Пражской весны «Две тысячи слов». А повод для исключения – сокурсник делал рукописный журнал (понятно, бесцензурный!), а мы – его товарищи – не донесли кому следует. Моя любимая тётя попеняла мне: «И далась вам эта Чехословакия!». Впрочем, попеняла мягко, а на другой день созвонилась с заведующим районо, и определили меня в глубинку, Татьяновскую школу-восьмилетку на исправление. Потом я переехал ближе к городу. Вот тогда-то М.И. Снотова, директор средней школы №50 (Басандайка), приняла меня, исключённого из университета, на работу лаборантом с часами истории. Потом, в 1970-м, я

уволился из школы – удалось восстановиться и получить-таки высшее образование.

Прошли годы. Тётя перебралась в город. Она старела, здоровье её рушилось. Стали отказывать ноги. Но держалась она просто героически. Когда я приезжал к ней в гости, она почти сразу после слов приветов и поцелуя, начинала своё движение от холодильника к электроплите, открывая соленья, наливая квас, компот или молоко. И всё это старалась делать как всегда быстро. И вдруг в один из приездов я увидел, как нелегко ей это даётся, а потом ещё и заметил, как она зажмурилась от боли, шагнув неосторожно в сторону. Но всё так же шутила, всё так же засыпала вопросами о жизни, о планах, о здоровье. И взглядывала мне в лицо, сверяясь, не спросила ли о чём-то ненужном, неприятном. А самой о себе говорить было почти нечего. Редкие выходы во двор с мусорным ведром, встречи старых подруг (слава богу, они её не забывали). Продукты ей приносила девушка из службы соцзащиты. Всё так же она читала, смотрела телевизор, и по её рассказам я понимал, что смотрит она больше развлекательные передачи, заменяющие живое общение. Помню, я пережил острое чувство жалости к моей тёте. Понятно, её глубоко уважали, искренне любили пациенты, больные, которых она лечила. Любили соседи. Но близкого человека после смерти мамы (моей бабушки) рядом с ней не было. И пережил я стыд за моё к ней отношение, когда лежишься лишний раз зайти, поговорить. Ведь ей от меня не так много было и надо – участие, внимание. И как я этого не мог понять? Но, кажется, понял, с запозданием, но понял.

Тётя дожила до падения страны, которой она отдала свои способности врача, свои жизненные силы. И прожила ещё десяток лет. Она начинала работу в медпункте маленькой таёжной деревни, а там надо было выезжать в соседние деревушки на телеге, либо зимой на санях. И она в моём детстве со смехом рассказывала, как на повороте зимней дороги (эти повороты назывались раскаты) вылетела из саней в сугроб, вспоминала, как вечерами были за домами волки.

В Пудино волки не были. И больница была большим хозяйством, за которым надо было следить, поддерживать его в порядке, что тётё вполне удавалось. От нашего дома до больницы ей было три минуты ходу. Помню пудинских врачей, сестру-хозяйку тётю Шуру, санитарок, завхоза Александра Гурзо, я видел, как он любит больничных лошадок.

И опять вспоминаю, как возвратилась в село Альма Яковлевна. Спустя несколько лет после смерти Сталина исчезла комендатура, подневольность, и многие ссыльные уехали (кто-то почти втихую, как будто боясь, чтобы власти вдруг не передумали). Простилась здесь со всеми и Альма Яковлевна и уехала в бывшую Бессарабию, а ныне Молдавскую ССР, будто насовсем. И вдруг вернулась. Ну, не вдруг – на другой год. Куда? В холод занарымский, куда заброшена была насильно. А позади у неё была учёба в городе Вена. Ладно, забросили её не как несчастных крестьян на голый берег, она устроилась на квартиру, работала не в колхозе, а санитаркой в больнице. Но венские вальсы и завывания вьюги – есть разница? Как просто – через колено – ломали человеческую

жизнь. В родных местах никого из той довоенной счастливой жизни она не нашла и не встретила – муж погиб в лагерях, брат умер. И оказалось, что самые близкие люди живут здесь – врачи и медсёстры, их дети. С мужчиной она ни до отъезда, ни после не сошлась, как это называли в деревне. И опять нашли для неё место в больнице. Не врача, конечно. Никакого венского диплома она предъявить не могла, да, наверное, начальство и не признало бы несоветской бумаги. Но старшую медсестрою работала до конца жизни. И прожила она немного за шестьдесят.

Ещё мне хорошо памятни два двухэтажных дома на главной улице нашего села. Их называли в обиходе Большие Дома, причём, не только мы, дети. В мой последний приезд (20 лет назад) я увидел, как они присели. Одряхлели. Скукожились. Перестали быть большими домами. А бессмысленное сооружение неподалёку от них называлось Ленинские Ворота. Дощатая арка над улицей Ленина к советским праздникам – Первомаю и 7 Ноября – одевалась кумачом, а сверху нависал герб Советского Союза и какой-нибудь плакатный призыв. Ворота снесены давно, в годы борьбы с архитектурными излишествами...

ЗЕМЛЯКИ. ПУДИНСКИЕ

До середины 50-х годов Пудино было райцентром, потом вошло в Парабельский район. Прожил я там десять счастливых лет. Дальше жизнь потекла в других местах. И никого из тех, с кем прошли пудинские детские годы, больше не встречал. Родина, понятно, не забывалась. Я помнил речку и еловый лес прямо за огородами. Я помнил, как отец, сначала

бригадир, а потом председатель колхоза подъезжал к дому на кошеве, брал меня прокатить, и летели комья снега из-под копыт крепкого коня. Много чего помнил, освоившись на новом месте, в пригородном Тимирязевском.

Вдруг в начале августа 2007 года мне позвонили бывшие пудинцы, сообщили, что 11 августа они встречаются и надеются видеть меня в своей компании. Сказано было тепло и убедительно, и я решился. Отправился тем не менее с робостью, думал: не стать бы там лишним. Я понимал, что буду на этой сходке самым юным, несмотря на свои 60 без малого. Пригласившие меня земляки уже заканчивали среднюю школу, когда я отправился в первый класс.

Надо сказать, маленькие открытия начались ещё на пути к месту сбора. Мои спутники Виктор Васильевич Морозов и Валентина Кондратьевна Цепелева говорили между собою о разном. Вдруг одно сочетание имени и фамилии показалось мне знакомым, и я сказал: «Вот у вас был Геннадий Кругляков, а я знаю стихи хорошего русского поэта, его зовут так же». Помню простое и трогательное:

*Такая вокруг новизна –
Студенчество, молодость наша.
И долго в окне мне видна
Смущённая солнцем Наташа.*

А мои проводники мне с улыбкой пояснили: «Так это он и есть». Только приходится теперь уже говорить в прошедшем времени «был». Он умер несколько месяцев назад в Подмосковье, а последние годы был постоянным участником встреч.

Когда все, кто обещал прибыть, собрались в дач-

ном домике Владимира Кирилловича Махно за большим столом, Александр Максимович Гуртяков предложил почтить память поэта, их товарища.

Потом, когда выходили из-за стола на улицу, любовались на участке цветами, он достал из машины и подарил мне привезённую книгу Круглякова. И теперь я перечитываю знакомые строки, но уже по-другому, понимая, что это о местах, дорогих нам обоим:

*Что общего в нынешнем миге
С моею далёкой порой,
Когда, забывая о книге,
В лесу находил я покой.*

*Бесцельно, как в славные годы,
Мне хочется снова бродить,
У пня и замшелой колоды
Затерянный гриб находить.*

*Я отблеском давней печали
Любуюсь и дорожу.
В леса и осенние дали,
Как в прошлое, тихо вхожу.*

Не перестаёшь удивляться вездесущности пудинцев. Сам Александр Максимович окончил механический факультет ТПИ. В 1967-м, в год 50-летия советской власти, оказался в Москве. Столица готовилась к торжествам. На ВДНХ (теперь уже приходится расшифровывать «Выставка достижений народного хозяйства») торопились смонтировать и поднять модель космического корабля. Вот в этом, можно сказать, неординарном монтаже и довелось участвовать

Гуртякову. Своей рукой включил рубильник подъёмника, который и привёл ракету в вертикальное положение. Александр Максимович защитил диссертацию, стал преподавателем в родном институте.

Впрочем, здесь, на встрече, они называли друг друга по именам – Володя, Саша, Витя, как и положено меж старыми товарищами. И девушки, которые учились рядом, тоже не величались по отчеству: Нина Палинова, Зина Караваева, Валя Цепелева. И витал какой-то натурально молодой дух среди собравшихся.

Я сразу был принят за своего. Один сказал, что помнит меня вот таким, показав полметра от пола, другой прибавил сантиметров десять – а я вот таким. Юрий Алексеевич Артемьев благодарно вспомнил, как мой отец помогал их семье в трудную пору. Наши отцы были друзьями. Они и ушли один за другим будто связанные незримой нитью.

А когда в разговорах зазвучали имена родной земли – Останино, Кёнга, Лушиково, Скит, Чузик, Роголёво, Таванга – я почувствовал, как оживает память. Я увидел и те Большие Дома – две двухэтажки на улице Ленина, и старую школу, и клуб, на который не успели нарадоваться, как он сгорел.

Я увидел, как проносится по улицам, поднимая пыль столбом, Витя Махно. Он стал потом знаменитым мотогонщиком и на льду, и на гаревой дорожке. Говорили, что он ничего не боится. Ему устраивали разные пакости – подпиливали тросик, ослабляли гайки. А он привозил всё новые медали и кубки со всесоюзных и всероссийских соревнований. С ним дружил журналист «Красного знамени» Эдик

Стойлов и передавал мне приветы. И я слал ответные, а ведь вполне мог зайти в гости. Теперь оба они – и Эдуард, и Виктор – ушли от нас навсегда. Так и остался в моей памяти летящий по пудинской улице Витя, вослед которому с восторгом и завистью смотрим мы – шестилетки. Братья Махно все болели мотоциклом, и Владимир Кириллович, с которым я сегодня за одним столом, тоже.

Удивительное дело: люди, родители которых в основном были принудительно сосланы в это северное село, вспоминают забытую богом глушь прямо-таки с любовью. Многое объяснимо юными годами. Но нынешняя близость, пронесённая через годы, сохранённая через столько лет, рождена равенством происхождения, сплотившим всех. Да, у них по-разному складывалась дальнейшая жизнь, но они породнены общей судьбой и друг для друга остались земляками в старинном понимании слова, детьми одной земли.

Одним из организаторов этих встреч стала Валентина Кондратьевна Цепелева. Окончив школу, а затем институт, она учительствовала в Абакане, потом вернулась в Пудино. Здесь взялась создавать музеев школы. Такая уж деятельная натура. Именно от неё пришло мне письмо с просьбой прислать свои статьи и книги. Похоронив мать, перебралась в Томский район поближе к сёстрам. И тут продолжила поиск земляков. Неугомонность принесла результат. Четвёртый год съезжаются пудинцы в дачный домик гостеприимного Махно. Им есть, что рассказать друг другу, есть что вспомнить.

Вспоминали с уважением и любовью тогдашнего директора школы Андрея Алексеевича Зайцева

и сейчас живущего в Пудино. Вспоминали учителя математики и астрономии Аврелия Васильевича Деттеррера. В этом качестве я его там не узнал. Ведь все три класса начальной школы у меня была одна (и любимая по сей день) учительница Мария Никитична Колбина. Но бывают же такие совпадения! Учиться в четвёртом классе мне предстояло в Тимирязевской школе. На школьной линейке 1 сентября я ещё как-то не прибил к новым товарищам, и когда ребята побежали в классы, остался на площадке один. Ко мне подошёл директор школы. У нас состоялся такой разговор. «А ты у кого учился, мальчик?» – «У Марии Никитичны» – «Вот и беги к ней» – «Так она далеко, в Пудино». Он рассмеялся. И привёл меня к другой Марии Никитичне – Ткачёвой, такой же доброй и замечательной. А директора звали Аврелий Васильевич, и слово «Пудино» стало для нас паролем, сблизило нас (при всей субординации учителя и ученика). Потом Деттеррер работал в Томском педагогическом институте, был какое-то время там проректором. Я помню его как первого в моей жизни настоящего интеллигента. А моим старшим товарищам запомнилась его устремлённость к знаниям, любовь к своей профессии. Приехал работать в школу со средним педагогическим образованием, заочно учился в пединституте и сессии сдавал только на «отлично».

В этих застольных разговорах оживала история теперь уже минувшего века. Причём в ситуациях не масштабных, не парадных, в различных эпизодах деревенской жизни – и обычных, и трагических. Виктор Васильевич Морозов вспомнил, как во время

Отечественной войны стали дезертирами, сбежав по дороге на призывной пункт, два брата-охотника и их товарищ. Как скрывались они в лесу, приходя в родную деревню, больше года. Видимо, потеряли бдительность, потому и попали в засаду. Заготавливали кедровый орех, позволили стрелкам окружить их со всех сторон. И когда предложили им сдаваться, один поднял руки, другой был на кедре, тоже деваться некуда, а третий бросился бежать к избушке за ружьём, да пуля достала. Рана была смертельной, истёк кровью через два часа. Хоть могила родне осталась. А тех, кто сдался, услали неведомо куда, больше о них никогда ничего не слышали.

Конечно, выпили за встречу. И разговоры пошли живее. Соседи по столу вспоминали одно, на другом конце – другое. Но никто никого не перебивал и за язык не тянул. И скромно помалкивал Борис Васильевич Плотников. Немногословен был и Владимир Матвеевич Семенчуков, зато его фотоаппарат щёлкал, останавливая мгновения исторической встречи. Мне же оставалось только слушать простые слова о той далёкой незабываемой жизни.

– У вас ещё стол был такой длинный. Мы рассаживались, резали хлеб, посыпали огурцы солью. Так вкусно всё было.

– Хочу съездить в Красный Яр. Ну да, говорят ни домишка нету, там покосы сейчас. Но в хорошем месте его построили. Место-то осталось. Хоть постоить там.

– У тебя, Юра, мама очень красивая была. Ещё говорили, что она похожа на эту актрису, как её... Аллу Ларионову.

– А помнишь, как мы силосную траншею копали во Львовке? Последний экзамен сдали, и в грузовую машину в кузов усадили два класса. Ни скамеек, ничего. Первый слой земли сняли, а дальше там глина пошла. До кровавых мозолей дошло. Но выкопали.

– Одна учительница у нас была. По-моему, ни село, ни детей, ни работу свою не любила. Послали нас картофель убирать. В конце дня, как всегда, развели костёр, готовимся картошку печь, смеёмся. А она вдруг начала пинать эти ветки, головёшки. Мы не знаем, что и сказать. «Не надо, – кричим, – сапоги испортите!».

– А Гарри Яковлевича помните? До-ре-ми-фа-соль-ля-си? Вот кто знал и любил музыку, и нас общал. Преподавал пение, а сам аттестат о среднем образовании вместе с нами получил. Вот рядом за партой писал сочинение.

– Третий тост всегда пьется за любовь. Так давайте за тех, кого любим, любили и помнить будем, за родные и любимые места наши.

И, прощаясь, обещали снова через год собраться за тесным дружеским столом. За родственным столом, сказал кто-то.

1980-2013

* * *

P.S. Серия документальных публикаций «Из истории земли Томской», издаваемая архивным управлением администрации Томской области и Томским историко-просветительским и правозащитным обществом «Мемориал». 1940 – 1956. Не-

вольные сибиряки. Сборник документов и материалов. Томск, 2001.

На странице 285 приводится такой документ «Из информации Пудинского райкома КПСС в Томский обком КПСС о политической работе среди спецпереселенцев в районе. 1 апреля 1955 г. С. Пудино (цитирую всего несколько строк).

« В агитбригаде Дома культуры в день выборов участвовали супруги Фляйшер (баянист и солист). Гарри Фляйшер – преподаватель немецкого языка в средней школе. Ирина Фляйшер – художественный руководитель РДК. В художественной самодеятельности оба в течение многих лет участвуют активно...

В Пудинской средней школе преподавателем математики работает спецпереселенец Деттеррер (немец). К работе относится добросовестно, но в общественной работе активности не проявляет – замкнут. По просьбе редакции выступил с рядом статей в районной газете. Заканчивает заочно Томский пединститут...

Зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Парамонов.

Редактор газеты «Коммунист» Логачев».

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО

всплески памяти

Мальчишеское, мальчишество – этим одни меня попрекали, другие якобы завидовали, как мне это удалось сберечь. А я плохо понимал, о чём именно речь. В отрезке жизни, которое называется детством, не так уж много отрадного и любимого за пределами дома, семьи и огорода. Я не был первым в играх, в компаниях и не хотел им быть, а какие-то отличия, отдельности не приветствовались ни ровесниками, ни наставниками.

О самом раннем детстве помню мало.

Кое-что я показал земляку Васе Демешкину, и он как более памятливым (да и чуть меня постарше) уточнил и дополнил. Его комментарии привожу курсивом.

Как жутко и таинственно воспринималась смерть. Утонул мой ровесник. То ли ещё до школы, то ли лето после первого класса. Я не пошёл с ним прощаться, было страшно.

Володя! Я помню смерть Вани Мельникова, так как был свидетелем и участником этой трагедии...

1956 либо 1957 г. Чузик, плотина и мы рыбачим на быках. Пацаны – Ваня, Сашка Нестеров, Брыкин сели в лодку, их затянуло в водопад и выбросило в поток... Брыкин сумел выпрыгнуть.. Сашку Нестерова (сын секретаря райкома – мой дружок детства) мне удалось выловить. Его прибило почти к берегу, правда, мне пришлось зайти по пояс в воду и вытащить его... Он нахлебался воды и был в отключке. А Ваню не удалось догнать, последний раз он появился из воды у падения Коньги в Чузик. Я думал перехватить его на мостках, которые были чуть ниже устья, но не судьба... Через неделю его подняли у моста в Останино...

Годом, может быть, позже застрелился военком Брыкин. Почему-то помнится, как говорили об этом тётя с бабушкой – тихо, как будто таясь от меня. Вот его я видел лежащим в гробу таким же суровым как в жизни. Запомнил, что сыновей отправили в суворовское училище. ...

Моя мама в этот период дружила с женой его – училась портновскому делу шить по выкройкам, снимать мерки и т. д. Я очень часто был у них дома, дружил с Витькой. Прибежал часа через два, а может и раньше – ещё шли следственные действия.. меня посадили на сундук и не выпустили, пока всё осматривали ... Помню кровать с окровавленным одеялом и ощущение нереальности произошедшего. А затем похороны.. его погребли близко от могилы нашего отца... Кто-то из пацанов пристал ко мне и просил показать могилу отца.. Я не выдержал, отбежал в сторонку и от души наплакался...

Ещё – странные люди. Ходил, держа руку наперевес и подпрыгивая ногой, Витька Хохряков. Давно взрослый человек, а всё – Витька. Добрый, беззащитный. Очень любил кино, как и я. Названия некоторых кинокартин художник писал разными красками на большой фанере у клуба. А для некоторых фильмов приходили афиши. Почему-то помню: «Белая грива», там лошадь и рядом подросток.

Его мама работала поваром в больнице. Я её помню. Году в 1962–63 она скончалась. Витю отправили в дом инвалидов. Он там не долго протянул... У меня есть фото, где сотрудники больницы, и он там тоже.



Дед Игнат и моя баба Зина.

Помню, как мы с моей любимой бабой Зиной (матерью отца) обманули гостя, её родного брата деда Игната. Тогда у меня не осталось ощущения обмана. Дед Игнат прилетел к нам в деревню издалека. Привезла его тётя с аэродрома на больничном возке.

Надо бы напоить с дороги чаем, и вдруг обнаруживается, что он где-то в пути потерял свою кружку. Дед Игнат был истым старообрядцем, мирская посуда, пусть даже близких людей, не годится. Баба Зина снарядила меня в магазин за стаканом. Я побежал и попал на обеденный перерыв. Бабушка встретила меня в сенях и заставила остановиться. Сама ушла в комнату, возвратилась с чистым стаканом и катушкой ниток, у которой на дне была круглая этикетка. Мы отделили её и прилепили на остатке клея ко дну стакана. Бабушка ушла в дом, а вскоре я вошёл в кухню и протянул как бы покупку. Дед Игнат повертел стакан, с удовлетворением кивнул. Бабушка отделила наклейку, сполоснула посуду и налила ему, наконец, чаю.

Сама баба Зина была из староверов уже не таких радикальных. Когда мы заходили с ней к кому-нибудь в гости, она, конечно, спокойно пила чай или квас из хозяйских стаканов и кружек.

Однажды мы с бабой посмотрели фильм «Кубанские казаки». Шли домой, бабушка молчала, и я спросил её, понравилось ли кино. «Да понравилось, – сказала баба Зина, – только я не совсем поняла, где это всё было». Наверное, я ей что-то объяснял. А сегодня думаю: какая верная реакция на эту поделку.

О бабе Зине, о том, что она значила в моей жизни, я написал в рассказах «Дом» и «Большая река», вошедших в книжку прозы.

Так получилось, что детские годы мои до отъезда из Пудино, прошли в доме, где жили бабушка и тётя (её дочь и сестра моего отца). Правда, родительский дом находился не далее, чем через дорогу, так что я

каждый день там бывал. Но бывал именно в гостях. Мама работала в аптеке, которая располагалась во второй половине родительского дома, так что маме до работы было в буквальном смысле два шага. А вот отец, в ту пору председатель колхоза, рано уходил и возвращался поздно. Я видел его в выходной день.



Мама и тетя Ксения (вверху).
Баба Зина, я и сестра Галя.

Я закончил в родной Пудинской школе Парабельского района только три класса. Дальше детские годы потекли в другом месте, в посёлке Тимирязевском рядом с Томском.

Лето. Мать с отцом ушли на работу. Мы с бабой Марфой, Марфой Ивановной (мамина мать) остались одни. И осталась включённой электроплитка. Бабушка сварила суп. Потянула штепсель, и не смогла вытащить его из розетки. Позвала меня. Результат тот же, то есть никакого. Прикипело. Мне 11 лет. Я побежал к соседям за стеной, одно большое общее крыльцо у нас было. Надеюсь, что дома Витя, он старшеклассник, силёнок побольше. Но на двери меня встретил замок. Побежал через дорогу к Толяну, тоже заперто. Вернулся. Что делать? Родилась у нас идея отрезать шнур, потом, дескать, наладят. Я взял ножик поострее с железной ручкой. Примерился. Но жалко стало мне этого шнура. Я с малолетства любил жить с вещами в мире и дружбе. Отложил нож. Схватился ещё раз и – чудо! – выдернул. Вечером я с законной гордостью поведал о сбережённом кабеле. Мама пришла в ужас, отец, должно быть, тоже пережил неприятные минуты, но виду не подал и в меру сил объяснил, что такое электричество. Спросил строго: «Понял?». Я сказал: «Да». Через несколько минут я услышал, как он на крыльце, покуривая вместе с Кириллом Осиповичем (соседом), с юмором ему эту историю излагает.

Марфа Ивановна доживала свой срок в болезни, вся уже не в наших заботах и делах. Одиноко сидя на кровати, открывала одну из своих старинных книг. Там была Библия с иллюстрациями Доре. Листать она мне её позволяла, а приохотить к этому чтению не решалась. Побаивалась, что ли, зятя-коммуниста. То ли просто думала, что ни к чему. Мой отец отно-

сился к ней с неизменным почтением. Помню, куры у нас сидели в загончике. Бабушка открыла дверь насыпать им зерна, петух слетел прямо ей на голову и клюнул в темя. Вечером я рассказал отцу, часы дерзкой птицы были сочтены.

В эту же пору. Отец принёс свежего молодого осетра. Положили его на стол, вспороли. Он снулый, но ещё живой. Зачем-то решили мне показать, позвали: «Смотри, смотри!». И я увидел, как в глубине его тела сокращается сердце. Жалость захлестнула всего и осталась на всю жизнь. Я почувствовал, как и моё сердце сжалось.

У нас в доме поселилась моя двоюродная сестра Мария. Она приехала из Новосибирской области, где семья жила на железнодорожном разъезде, учиться на бухгалтера. Её, конечно, занимали в хозяйственных делах, тем более, что была она работающая и умелая. И вот поехали мы с ней протяпать картошку на полях. Отец запряг в телегу лошадку, Маша умела с ней управляться, ей и вожжи в руки. Приехали, отыскивали нашу деляну, взялись за работу и потихоньку всё сделали. Лошадка пощипывала траву. Нарвали, как мне помнится, цветущей таволги, положили на телегу тяпки, сели сами и двинулись в обратный путь. Лошадь шла почти шагом, и Маша её не подгоняла, как вдруг непонятно с чего лошадка понесла, причём резво. Маша стала кричать: «Тпру!», натягивать вожжи, а упрямица лишь дёргала головой, не сбавляя хода. Меж тем наш просёлок вскоре выбирался на большую грунтовую дорогу, и

тут шёл подъем, причём под косым углом. На середине подъёма мне показалось, что телега опрокидывается, и я прыгнул с неё, скатился вниз и вскочил цел-невредим. Неуправляемая доселе лошадь стояла как вкопанная на большой дороге, а Маша в тревоге оглядывалась. Я подошёл. « Не ушибся? – заботливо спросила Маша и добавила виновато: – Не знаю, что с ней случилось, прямо одурела». Мне было стыдно за своё малодушие, глаз поднять не мог. А Маша как будто этого не замечала. Может, ей показалось, что я просто свалился с телеги? До сих пор не знаю. И спросить до сих пор опять же стыдно.

Разбирая бумаги и уничтожая ненужное, наткнулся на дневники 1961 и 1962 года. Юнцу уже 12-13 лет, но до чего бедны и убоги записи. Каждодневные дела – походы за хлебом и молоком, летом – игры в папа-гонялу, в шпионов, в прятки, в футбол и купание, пересказ увиденных фильмов, прочитанных книг. А книги-то какие! «Похождения Нила Кручинина» и тому подобное. Фильмы попадаютя лучше. Скажем, «Крестоносцы». И автор дневника его высоко оценил: «Законно! Особенно битва при Грюнвальде и поединки».

Забавные истории. «Галька кормила Зорьку (собачку). Зорька не ест. Галька придвигает ногу к Зорькиной чашке. «Съем, съем», – говорит она. Зорька рычит и вдруг кусает Гальку. Та дико кричит. А мы с Валеркой хохочем».(Галька – моя сестра, а Валерка – племянник, но по возрасту скорее двоюродный брат).

Сочинил стихотворение.

БРАСЛЕТ

*А интересно бы узнать,
Что было здесь тогда,
Когда мамаевскую рать
Прогнали навсегда.
Конечно, здесь никто не жил,
Но кто-нибудь прошёл,
Недаром я позавчера
Браслет в земле нашёл.
Быть может, молодой джигит
Его здесь обронил,
И соскочив с коня, искал,
Искал, себя бранил.
Искал и ползал по земле,
И не найдя браслет,
Вскочил и ускакал во мгле.
А через много лет
Копать я вышел огород,
Копнул разок, другой.
Вдруг что-то лязгнуло, и вот –
Он здесь, передо мной.*

май, 1962

В нашей Тимирязевской школе забавны были отголоски борьбы с так называемым стиляжничеством. Туда входило и высмеивание западной музыки (это продлится до «Битлз» включительно). На вечере в поселковом клубе два старшеклассника – Володя Захаров и Толя Сарсенбаев – пробрались к проигрывателю, поставили гибкую пластинку «на костях» (так назывались самодельные записи, которые нареза-

лись на рентгеновские снимки). Грянул рок-н-ролл. Наши герои стали отплясывать. То ли учителя не до-сматривали, то ли их попросту не было – никто ребят не остановил. Но танец прервался самым неожиданным образом – Толику стало плохо, он растянулся на полу, потребовалась даже медицинская помощь. Сама судьба дала школьным наставникам такой козырь! Вот наглядный пример, как западная зараза лечит не только души, но и тела. На другой день на уроках все классные руководители такой возможностью воспользовались. Слабое сердце, кстати, определило краткий век Толи Сарсенбаева. Давно уж его нет на этой земле.

После звонка на первый урок входила в класс Александра Ивановна, одна из моих любимых учителей, дававшая нам химию так, что перед выпуском я всерьёз думал, куда же двинуть – на химфак или филологический.

Александра Ивановна к тому же была завучем. Её миссия состояла и в том, чтобы соблюдался строгий порядок в одежде. Мы вставали, приветствуя завуча. Но она предлагала всем выйти из-за парты. И тогда острый глаз сразу отлавливал отклонения от стандарта. «Недопёкин, Кривошеев – домой. Переодеться и быстро назад. Остальные могут садиться». Шурик Кривошеев, сам управлявшийся со швейной машинкой, только вчера классно заузил штаны себе и приятелю Вите Недопёкину. Лишь какие-то полчаса перед уроком они и смогли покрасоваться, и мы успели им позавидовать. Но как недолог звёздный час!

Для нынешнего народа Тимирязево – почти рай-

он города. Десять-двенадцать минут на маршрутке, и ты переносишься к сосновому бору, озеру, другу-подруге, живущим в этих местах. В наше время поселок был, понятно, географически не дальше от Томска, чем сегодня. Но достичь его было очень проблематично. Никаких автобусов к нам не ходило. На городском автовокзале (в районе нынешнего биржевого корпуса) надо было умолять водителей дальнорейсовых автобусов взять до Городка (это остановка на главной трассе, которая шла до Оби и дальше, в другие районы области). Если автобус наполнялся пассажирами до конечного пункта, шансы твои сводились к нулю. Шофёр закрывал дверь, и машина с маленьким острым рыльцем отваливала. Могло повести со следующим. Если дело было зимой, мы бежали погреться в наш главный универмаг (нынешний магазин «1000 мелочей»). Хорош он был снаружи, хорош и внутри.

Там, правда, однажды довелось пережить неприятные минуты. Какой-то хмырь, поталкивая нас плечом, стал требовать денег. Нас, пятиклашек, было двое, но с нами находился Серёжка Липухин из седьмого. Постоянно он в школе кого-то задирали, казалось, никого не боялся. Решили мы, что с таким спутником немедленно посраим вымогателя. Но я просто не узнавал Серёгу: он сник, стушевался, что-то мямлил, отступая от наседавшего подростка. Денег никто из нас не отдал. Сбившись в кучку, мы вышли из универмага, двинули к автобусам. Никто нас не преследовал. Серёга счёл нужным объяснить: «Это пацан из блатных, стали бы мы ерепениться, ещё бы набежали, тогда небитыми не уйти. Да и кар-

маны бы вывернули». Так ли, не так ли – наше унижение и малодушие Серёжки я запомнил надолго.

Весной наша связь с городом устанавливалась только по наведении понтонного моста.

Зимой автобусы проходили по льду Томи. После того, как на такой же ледовой переправе через Обь провалился автобус с детьми-спортсменами (не обошлось без жертв), стали людей высаживать и принимать уже на другом берегу. Помню эти пробежки по продуваемой студёным ветром заледевшей реке. Исключения делались для очень пожилых и инвалидов. На рубеже апреля автобусное сообщение прерывалось – ходили пешком. Накануне ледохода это становилось небезопасным. Перебежчики попадали в промоины и полыньи. Когда потонуло несколько человек, у главной тропы стала дежурить милиция. Но смельчаки находили иные места, правда, это были уже единичные акции.

То же самое повторялось осенью до крепкого ледостава.

Лето, наверное, после восьмого класса. Мы уже умели неплохо плавать и нырять, но всякий раз при его появлении понимали, как далеки от идеала. Линур Хаджи-оглы отличался завидной спортивной фигурой, осанкой. В походке его были и раскованность и достоинство. Не ярко выраженный татарский тип придавал его облику лёгкий восточный налёт. Мы любили наше проточное озеро, лежащее под горой. Грамотно оно называлось Тояново озеро. Но за эту самую проточность его звали попросту

Нестоянкой. Линур первым появился на Нестоянке в плавках фабричного производства с белой чайкой или альбатросом на тёмном фоне. Мы в своих сатиновых самоделках гляделись такими папуасами.

Ладно: вальжной походке можно было научиться (как учились походке Криса из «Великолепной семёрки»). Плавки можно было где-то раздобыть. И всё это осталось бы просто понтами. Но дальше происходило главное. Линур входил в озеро, делал несколько шагов по песчаному дну и, когда вода достигала пояса, с лёгким всплеском нырял. И тогда мы смотрели на мелкие волны в солнечном блеске и ждали. И сияло тысячами огней озеро, шумела осока у нашего берега. И наконец, у того, противоположного, метров за пятьдесят, вспарывалась вода головой и крутыми плечами. Линур, стоя так же по пояс, фыркая, отряхивал волосы. Никому не приходило в голову в нынешнем духе кричать какое-нибудь «вау». Но восторг и гордость – да, именно так! – переживались нами в эту минуту. А зависть? Пытаюсь вспомнить: нет, не было. Желание повторить – да. И когда подросли мы и окрепли, у Бориса почти получилось. Но чуть-чуть, говорят, не считается.

Высказывания Гёте, выписанные мною в тетрадь весной выпускного года явно не из первоисточника, из какой-нибудь книги типа «В мире мудрых мыслей».

Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком.

Не то делает нас свободными, что мы ничего не признаем над собою, а то, что мы умеем уважать

стоящее над нами. Потому что такое уважение возвышает нас самих.

Любовь к истине проявляется в умении везде найти и оценить хорошее.

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

КАКИМИ МЫ БЫЛИ? КАКИМИ МЫ СТАЛИ?

*(ответы на вопросы школьной анкеты
к вечеру встречи , конец 80-х)*

Отвечать на такие вопросы для меня сложно потому, что достаточно давно не люблю местоимения «мы», как не люблю хождения строем, пресловутого коллективизма и всяческой групповщины. Мне и поступления в комсомол удалось избежать, потому что не виделось в этом внутренней необходимости.

Но в школьную пору, действительно, были – мы. Я не про поколение, даже не про весь класс, однако жили и ходили в одну школу близкие мне по разным проявлениям ребята. Какими мы были? Разными. Слава богу, в середине 60-х ещё не вошли в силу смотры строя и песни, какие-то военизированные игры, призванные цементировать и объединять. Помню книгочех Витю Сыроватского и прочитанные с его подачи «Приключения Вернера Хольта» о второй мировой войне, увиденной с той стороны. Помню спортивное упорство Вовы Цехановского, неукротимую кипучую энергию комсорга Надьки Романовской. Я завидовал математическим способ-

ностям Лидки Черепановой, таланту рисовальщика Альки Блинова. После уроков мы делали с ним стенгазету, хохотали, придумывая картинки и подписи.

Блин вообще одно из ярких впечатлений моей жизни. Я написал о нём рассказ «Начерно», и то, что люди, незнакомые с ним в жизни, говорят об этом персонаже с теплотой и симпатией, греет мне душу.

Воспоминания о детстве, детские впечатления воплотились и в других рассказах: «Большая река», «Провидец», «И гребень в руке золотой».

Мне повезло с учителями. Это были действительно не преподаватели, а Учителя. Мы навсегда простились с Александрой Ивановной Колбас. И совсем недавно с Бертой Андреевной Фризоргер. Они стареют, мои учителя. Время работает против. И мне тревожно, когда я кладу трубку, не дождавшись ответа из Москвы от Валентины Ивановны Внуковской. Валентина Ивановна определила мой выбор – филологию. Она подробно познакомила нас с Есениным за десять лет до того, как он занял своё место в школьной программе.

В коридоре Томского пединститута в середине 70-х я столкнулся с директором нашей школы. Неожданная и приятная встреча. Аврелий Васильевич Детеррер был любим учениками. Даже когда он поймал курящего Витьку Козлова под лестницей, случай этот разрешился просто феерически. Козёл через пару минут выскочил оттуда с горящими ушами и восторженным выражением лица:

– Сейчас Аврелий так ловко схватил за уши, так быстро-быстро и больно намял. Это надо уметь!

Вообще, атмосфера, как мне помнится, была недурная. К чести нашей школы, не было того давления, при котором членство в ВЛКСМ делалось поголовным. Потому, когда девочки студенческой группы, голосуя за моё отчисление из университета, решили заодно исключить меня из комсомола, я им сказал, что тут-то у них ничего не получится. «Почему?» – удивились они. «Потому что я в нём не состоял!». Они были поражены.

Какими мы стали? Вот вопрос, на который я просто не берусь ответить. Я не могу говорить беспристрастно, а мои оценки – только мои. Сколько людей – столько мнений. Но вот просто одна картинка для прояснения моей позиции.

Лет через пять после окончания школы я встретил Н. из параллельного класса. Раньше я всегда чувствовал близость его внутреннего мира. Перекинулись о том, о сём, разговор неведомо как коснулся Чехова, и Н. сказал:

– А вот Чехова-то долго пришлось мне вытравлять из себя.

– То есть, как это? – спросил я.

– Все эти заветы порядочности и чести. Ох, как непросто получилось.

– А зачем тебе это надо было?

– Зачем? Да чтобы жить нормально. Чтобы с людьми легче ладить!

Если бы я пришёл к его выводам, я бы, напротив, остался в жизни ни с чем.

Вообще о школе. На уроках пения (а потом и на каком-то вечере встречи) наши девчонки с чувством

пели про «школьные годы чудесные». Там уверялось: «Нет, не забудет никто никогда / Школьные годы». Я никогда не числил их «чудесными» и многое благополучно забыл. Довольно скоро прошло и чувство школьного братства, то есть восприятие того, с кем учился, братьями навеки. Да, со школьной поры до сих пор моим товарищем остался Володя Цехановский. Да, я храню благодарную память об учителях – нам повезло с ними. Но сколько обид, огорчений, непонимания связаны с этим отрезком жизни. Без какой-либо «светлой печали» я вспоминаю школу.

Университет – совсем другое дело. Там окрепли и отчасти были проверены представления о подлинной дружбе, о порядочности, о подлости и ханжестве.

СЛАВА ТЕБЕ, ОБЩЕЖИТИЕ!

Всякий раз, уже много-много лет, когда я выхожу зимой во двор и вижу свежавыпавший снег, картина озвучивается незабываемой песней.

Посмотри, посмотри –

Сколько снегу выпало.

Это нашу любовь, молодую любовь

Замело, засыпало!

И вижу, как лужёными глотками самозабвенно орут это мои молодые товарищи, как Витя Зайцев бьёт наотмашь – как он это умеет – по струнам своей испытанной гитары.

Вот такой зачин хотел бы сделать я к моим заметкам о студенческой поре.

С людьми разного возраста делился я одним соображением: «Может быть, для нынешнего студента придумать какое-то иное определение, типа ученик высшей школы, хотя бы?». Со мной, посмеиваясь, соглашались – всерьёз, понятно, никто не принимал. Да и мне самому ясно, что так оно и останется. Но жаль мне, жаль этого слова – Студент. И как обозначать им идущих впереди меня по направлению к

главному корпусу университета особей мужского и женского пола, спокойно и лениво пересыпающих речь матерными словами? Не от потрясения или избытка эмоций, просто так. Как называть студентами великовозрастных весельчаков, прущих коридором главного корпуса, не снимая шапок?

До сих пор меня коробит, когда любимый университет как на блатном сленге предстаёт *универом*. И тоскливо ноет в груди, когда на мой вопрос, знает ли он университетский гимн, студент отвечает вопросом: «А это надо?».

Понимаю, что легко изобразить мои печалования просто старческим брюзжанием. Не спешите.

Пришла такая пора. Я ещё жил в привычной обыденности, ходил в школу, общался с друзьями, учителями, соседями. Но уже устремился куда-то дальше, в другой мир. Я не знал его, не видел, каким он будет, но ту действительность, где жил, будто уже покидал, слишком она была будничной, даже пошлой.

Ничего определённого впереди, повторяю, не виделось. Но как-то у одноклассника встретил его старшего брата с товарищем. Из города они приехали на гоночных велосипедах, загорелые, лёгкие, резкие в движениях, говорили весело, остроумно. Они были студентами. Этого мне вполне хватило. Когда мы писали сочинение на тему, кем хочу стать после школы, я написал просто – Студентом. Большей конкретности не было.

Я побывал в общежитии у этих корешей, как они сами себя называли, услышал Окуджаву. Да, выбор сделан. Ребята занимались физикой, электроникой.

Это никак не совпадало с моими умственными возможностями. Кто-то из старших, знакомый с моими сочинениями, сказал, что есть институт, где учатся, чтобы стать писателями. Не хочу показаться умнее, чем есть, но идея учиться на писателя и в ту пору показалась мне дикой и несообразной. Вскоре узнал про гуманитарные факультеты, где изучают языки и литературу для будущей работы в школе, архиве, газете, библиотеке. На том и остановился.

Сегодня в пригородное Тимирязево маршрутка доставит вас в четверть часа. Слышу в автобусе, как девчонка лопочет в телефон: «А я в Тимирязево еду к Веронике на дачу погулять, отдохнуть». Когда-то, столетие назад, его и называли Дачный городок. Жили там летние постояльцы, обитатели скромных домиков. Сегодня посёлок стал пристанищем новых хозяев жизни в изрядном количестве. Их особняки, обнесённые, как правило, высокими кирпичными заборами, решительно изменили облик моего посёлка. Нет больше старых тупичков или, наоборот, сквозных переулков – всё, что можно, перегорожено и оттапано.

Неужто впору задним числом пожалеть о заповедной тишине и милом запустении? А вспомни, как мы добирались до города, лежащего на расстоянии вытянутой руки. Во-первых, ледостав и ледоход прерывали наше сообщение. Во-вторых, даже когда устанавливался так называемый понтонный мост, самое надёжное – это пеший ход. Автобус к нам не ходил, упросить водителя дальнего рейса «подбросить до Городка» трудно, если у него под завязку пасса-

жиров. Случались удачные вояжи – туда и обратно на грузовике, который идёт в город со своими целями, а тебя и приятеля по доброте прихватывают.

Однажды мы с другом Борей, словив такую вот удачу, сидели в кузове грузовика спиной к ветру. Весело бежит машина. Вдруг видим: за нами следом по дороге катится автомобильное колесо. Мы захохотали, закричали что-то. А наш третий взрослый спутник вскочил и застучал ладонью по кабине. Колесо-то было наше.

Ещё ближе было зимой по льду через Томь. Тропа выводила в центр города. А обратно – прямо к Нижнему складу. Сегодня одно название осталось. А во времена леспромхоза это был натуральный Нижний склад, в ранние зимние сумерки ты безошибочно выходил на свет его фонарей на столбах. Ну пару раз в зиму смотаться в Томск ещё ладно. Помню, мы как-то втроём, впятером ли в шестом классе ломанулись в кинотеатр имени Горького на «Трёх мушкетёров». А если нужно чаще? Да что там говорить! Но иначе (при нынешней доступности посёлка) разве получил бы я место в общежитии? Однозначно, нет. И лишился бы одного из самых дорогих подарков жизни.

В силу таких природных причин в городе, отстоящем от нас на какие-то шесть километров, бывал я считанное количество раз. Знал, где расположен университет, уже упомянутый кинотеатр. Так что я открывал Томск так же, как ребята, приехавшие из городков и сёл, расположенных за 300-500 километров отсюда.

Поступал я в старейший университет Сибири в 1966 году. В тот год в стране оказалось выпускных классов в два раза больше, чем обычно. Переходили на десятилетку, и здесь мы были первыми. Но был и последний выпускной «по-старому», то есть одиннадцатый.

При том возвращённом в обществе престиже высшего образования конкурс в вузы был огромным. Помню, некоторые ребята изменили свои планы и даже «не рыпались», реально оценив свои способности и решая провести год на производстве, чтобы прийти следующим летом. К тому же рабочая характеристика не повредит.

Я подал заявление на историко-филологический факультет.

Экзамены сдал неплохо, но для того особого года и не блестяще. Набрал 18 баллов. Причем, непрофильные для филологического отделения немецкий и историю сдал на пятёрки, а сочинение и литературу устно на четвёрки. Это, собственно, был проходной балл. Далее смотрели и сравнивали характеристики. Мне кто-то намекнул, что у меня есть шанс, потому что я – мужчина. Парней, сдающих на филологическое отделение, было наперечёт.

Я нашел себя в списках принятых.

С новообретёнными друзьями мы потянулись в общежитие на Ленина, 49 отметить событие. На лестничной площадке стояла высокая и приятная на вид девушка-блондинка. Вдруг она как-то выделила меня из нашей вереницы и закричала злым, срывающимся голосом:

– Ну что радуешься, что лыбишься? Поступил, видать? Ну и х... с тобой!

Я увидел, что она пьяна. Валентина поступала уже не первый раз и опять в тот год обломила. Через несколько лет я познакомился с нею. Она закончила факультет заочно. Но в общежитие на всякие богемные сходки приходила. Это ей Федя Госпорьян (о нём позже) читал своим поставленным бархатным голосом Блока:

Валентина! Звезда! Мечтанье!

Как поют твои соловьи!

С его лёгкой руки она и получила это красивое, звучное имя – Звезда.

На первом курсе места в общежитии мне не досталось. Отец привёз меня определить на квартиру к своему старому знакомому дяде Мише, молдаванину. Жил он на середине проспекта Фрунзе, до университета недалеко. Сам дядя Миша ночевал в комнате, мне определил место на кухне. Но за круглым столом в своей комнате заниматься разрешил. Боковина печи нагревалась плохо: то ли колодцы забились, то ли незадачливость конструкции. И чтобы прогреть комнату, он хорошо протапливал печь. На кухне стояла непривычная для меня жара. Вечерами – раза два в неделю – к дяде Мише приходил приятель, и они резались в карты. На деньги, но по-маленькому. Когда из Молдавии доставляли вино в рамках кооперативной торговли, сопровождающие останавливались у дяди Миши. Тогда игра шла азартнее, ставки повышались. Немало было и дарёного вина – несколько бутылок полагалось «на бой», но экспедиторы были бережливы. Вкусное и ароматное вино называлось

«Фрага». Я приглашался к столу, пил, но играть не научился. Отворачивался к стене и не сразу засыпал под восклицания картёжников.

Следующий учебный год я встретил в общежитии. Проспект Ленина, 49. Комната 4-7, что значит седьмая на четвёртом этаже. Время во многом неповторимое. Во-первых, нашими соседями снизу были химики, сверху, на пятом этаже, математики. Такое соседство повышало нашу значимость. Без всякого понта скажу: технари тянулись к нам. Во-вторых, наш факультет тогда ещё не был раздроблен на два. В комнатах историки и филологи жили вперемешку, и было это на взаимную пользу.

В нашей 4-7 филологи преобладали. Комната была на восемь человек, кровати располагались в два яруса. Мы с Володей Лосевым были салаги – второй курс, потому занимали верхние места. Впрочем, старшекурсник Володя Бахтин составлял нам компанию и обратил наше внимание на выгоду положения: наши постели никто не сминал (приходящие в гости садились на кровати, стул был всего один, да больше и не поместилось бы).

Феномен общежития требует целого очерка, эссе, обзора. Я сочинил панегирик в стихах под названием «Общежитие» (1971 год).

Слава тебе, Общежитие!

В каждой судьбе – этажи твои.

Славьтесь, площадки и лестницы,

Где наши песни плещутся,

Где мы проходим разные –

Утренние, вечерние,

*Где мы проносим радости,
Сомнения, огорчения.*

Интересные ребята жили в нашей комнате, замечательные каждый по-своему.

Изящный, subtilный Володя Бахтин. Мы видели его красивое лицо строгим и собранным в зале Научной библиотеки, в коридорах учебных корпусов. А в комнате общежития он преображался и, строя лукавую гримасу, восклицал с паузой и пафосом, переходя на страстный шёпот: «Женщина.... это – хорошо!». И следом заразительный смех. Володя был автором стишка из одной строки: «В гробу лежал утюг мятежный», очень ценимого нами. Всё время чист, аккуратен, подтянут. Жил он почти на одну стипендию, от старшего брата иногда перепладал десятка переводом.



Слева направо. Володя Лосев, Толик Леминский, я, Володя Прошин.

Моим героем был Толик Леминский. Искренний, порядочный, надёжный человек с даром худож-

ника, первый строитель Нефтеграда (потом город назовут Стрежевой). Эти ребята составляли особое братство. У них, целинников, были свои, фирменные, алого цвета рубахи. В их разговорах-воспоминаниях возникали замечательные фразы, как не вовремя «разулся трактор» (то есть порвал гусеницу, трак), как тяжело далась первая лежнёвка (дорога по болоту из спиленных и уложенных поперёк стволов). При том в Толике не было пресловутой мужской суровости. Именно он рассказал мне историю, как у себя в саду Всеволод Гаршин перегородил камушками дорожку в том месте, где её пересекала муравьиная тропа, чтобы идущий перешагнул, не причиняя им вреда. Толика отличало непосредственное импульсивное восприятие жизни. Хорошо было с ним гулять. Мы с полуслова понимали, на что стоит обратить внимание. Солнце в сети ветвей, девушка, стакан абрикосового сока – всё это имело большое самостоятельное значение. Не более того, но и не менее. Так называемая конкретность бытия. Это мне и посейчас близко, а тогда признавал только такое свежее и чувственное восприятие. Это внимание к пустякам, уверяют умники, помешало выстроить или увидеть настоящие долгосрочные ориентиры. Может быть, что-то в этом есть. Но опять же, не знаю, что за ориентиры они имели в виду. Да, эти годы не вывели к порогу свершений и побед, не научили избирать важную цель и достигать её. Что ж теперь делать?

В ту пору я не знал, как у меня всё сложится в будущем. Наша общность несерьёзных людей не могла дать чего-то серьёзного. И всё-таки это незнание (и

моё, и товарищей) было дороже, чем установки тех, знающих наверняка.

Мы проводили массу времени в своей Научной библиотеке (науке). Там я расширил диапазон независимо от программы лекций и семинаров. Там читали мы Мандельштама и Волошина, Кузмина и Гумилёва, Мережковского и Ремизова, там открывали подшивки «Вестника Европы» и «Русских ведомостей», альманахи «Шиповник» да мало ли чего ещё. В некоторых журналах были переводы Ницше и Шопенгауэра, оттуда мы получали некоторое представление об этих ярких философах, а книги их тогда были заперты в спецфонд.

Но книжное знание как чисто арифметическое накопление никогда меня не привлекало. Холодные, учёные рассуждения оставляли равнодушным. Если это не задело твоей души и не помогло создать какой-то чудесный сплав, зачем что-то вычитывать и запоминать. Именно по этому критерию и шло (для меня) распознавание своих.

Помню неистовый спор Толика с одним ортодоксом. Помню последние слова моего друга, исчерпавшего запас аргументов: «Да Пикассо! Да я! Да пошёл ты на...». Помню и стойкое хладнокровие собеседника. Впрочем, какой там собеседник, лучше обозначить казённым «оппонент». Он умел держать паузу, быть пафосным, ироничным. В таких ситуациях он оттачивал своё мастерство. Но с того спора он перестал меня интересовать, а Толик стал ближе. Не подлежало сомнению первенство искренности в тогдашней системе ценностей.

В послестуденческую пору я приезжал в училище на Каштаке, где мог на уроках моего друга поговорить с учениками «о Шиллере, о славе, о любви», то есть о стихах, о поэтическом восприятии мира.

Не раз слышал я от него фразу: «Сибирь – место временного проживания человека», но не придавал ей значения. А он взял да и свалил в места, отхваченные у немцев по окончании войны. Аж под Кёнигсберг, в не менее знаменитый Тильзит, для нашей имперской убедительности переименованный в Советск. Это надо же такое имечко найти! Чтобы уверить своих и чужих, что места это нашенские, стали там возводить православные церкви. И Толик сделался иконописцем, пригодилось художественное образование. Поначалу слал он мне подробные эпистолы от руки – крупными буквами, размашистым почерком, сейчас перешли на звонки и электронную почту.

А второй мой товарищ – Володя Лосев – окопался на Южном Сахалине, в Невельске. Так забавно получилось: они на побережьях двух океанов, на разных концах страны, а я – посередине.

Вернёмся, однако, в студенческое время. Видел я рядом ребят кропотливых, основательных. Кое-кто из них вызывал уважение ранним выбором будущей профессии, научных интересов. Но некоторые просто хотели казаться взрослыми, были благоразумны, и вызывали активное моё отторжение.

Они не участвовали в замечательных наших пирах, сборищах. Толик называл это красивым словом «катарсис» (зачем-то же изучали мы античную

трагедию). Однажды к нам пришёл Володя Гефсиманский, не живущий в общежитии, и это обстоятельство, как и замечательная фамилия, позволили представить его как посла другого государства. В процессе питья и закусывания добрались до банки солений домашнего производства, я их периодически привозил из дому, мать была умелицей по этой части. Толик осведомился у гостя: «Господин посол, как вам нравятся огурцы такого посла?». Неприятный каламбур вызвал взрыв эмоций.

Тут была какая-то заведомая расположенность друг к другу. Эти посиделки выводили отношения на совершенно доверительный уровень. И хорошо тогда говорил Володя Бахтин про алкоголь: важен не результат, а состояние. Благо и выбор был, и качество приличное, и дешевизна. Но, положа руку на сердце, не помню я пьяного тупого мурла, которые так изобильно представлены ныне. Либо споры шли ещё острее, либо пели ещё задушевнее, либо ты мыслил раскованнее и смелее.

Мне приходилось начитывать многое, упущенное в детстве-отрочестве. И вот как-то весной 68-го года, оторвавшись от страниц русской прозы 19 века, я сел и навалял такую стилизацию (сохранилась в моих бумагах).

«А ведь оно скоро, барин, того, начнёт», – сказал мне мужик, указуя рукой на реку, казавшуюся спокойной, но таившую что-то по предчувствию крестьянина. Нам, привыкшим более к душным гостинным, незнаком тот дух весны, который чует всякий истинно русский человек, сохранивший благодарное

единение с природой. « Я вздремну, братец, – наконец ответствовал я ему, – ты же пробуди меня при начале непременно». Я удалился в избу, и не предаваясь посторонним раздумьям, отдался сну. Мужик будил меня за полночь.

«А ну, барин, однако вставай», – ворчал он довольно громко, теребя десницу мою. Я поднялся на своём ложе и потёр глаза ладонью. Некоторую непонятность происходящего испытывал я: зачем я принуждён к бодрствованию и что есть эта тёмная фигура в худом одеянии. Однако треск – подобие сильных музыкальных аккордов – привёл меня в совершенное чувство. В неизъяснимом волнении вскочил я и бросился из дверей в гремящую ночь. Подбежавший мужик подал мне шинель на плечи. «Помилуйте, барин, со сна да на ветер». Весь слух мой обратился к поднявшей льды реке».

Вечером я сказал, что хотел бы проверить чутьё и эрудицию наших старшекурсников и прочёл этот текст. Володя, Толик и Григорий слушали внимательно. В ответах однако были осторожны и неопределённые. Гришка резонно заметил, что как-то неорганична тут «десница», потому что остальное вроде из середины прошлого века. Вскоре я открылся. Старшие товарищи дали моему опусу положительную оценку.

В общежитии была Чёрная лестница. Полагаю, что я правильно пишу её с большой буквы. Несколько лет спустя её воспоёт наш факультетский бард Борис Овценов, эта песня, как и другие его создания, выйдет за стены общежития на томский и всесибир-

ский простор. Площадки лестницы – это не только возможность пообжиматься в полутьме. Там царила гитара. Гитара с уже знакомым Окуджавой, восходящим Высоцким, незнакомым Галичем. Мы росли на этих песнях. В 80-х ребята тоже слушали песню под гитару, но главным на их небосводе оказалась фарсовая фигура Александра Розенбаума.

А на нашей Чёрной лестнице пели:

*Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришёл из другой страны...*

Так впервые услышал я стихи Николая Гумилёва.

Там же слышал песню про пилигримов. Она звучала среди прочих, ничем особо не выделяясь. И только через десять с лишним лет я прочёл другие стихи этого автора и полюбил их. Этим автором был Бродский.

Стихи вообще входили в тогдашний образ жизни. Большая аудитория, где собиралось литобъединение, всегда была полна. Там спорили шумно, яростно, не признавая авторитетов, там сходились максималисты.

Общенья за стихами в нашей жизни было много. Я познакомился с Женей Зиминим. Он бывал гостем старшекурсников-филологов, они-то представили нас друг другу, и оказалось, что он тоже житель Тимирязева. Вместе с этими ребятами мы встречались у него дома. На рубеже семидесятых – в годы нашего сближения – стихи я писал никакие, никчёмные, понимал это, потому больше слушал, а если читал, то чужие. Женины строчки нравились мне свободной, естественной интонацией, присутствием юмо-

ра. Женя в ту пору делал машинописные книжки на тонкой бумаге, чтобы пробить через копирку хотя бы экземпляра три-четыре. Там были стихи Володи Бахтина, Гриши Воробьёва. Он и мне сделал первый сборник, вся моя беспомощность там налицо, печатный шрифт это подчёркивает.

Был в ту пору ещё один издатель, учился на юрфаке – Виталий Полищук. Он продвигал в основном одного автора – Фёдора Госпорьяна. Несколько позже мы подружились, издатель стал для меня Виталиком, поэт – Федей. Писал он броско, вычурно, читал красиво, выразительно:

*Как сладко в эту ночь спалось!
В лесах спал лось, в постелях – люд.
Стояло в небе семь полос –
Как бы безумствовал салют.*

Или:

*Осень страстно леса обнажает,
Осень страуса изображает.*

Понимай, как хочешь. Или принимай это как генеральную невнятицу. Впрочем, тогда было великое разноголосье. Гена Плющенко писал ясным, классическим слогом:

*Тогда забвенье времени утрать,
Одоевский, и с дружеской любовью
Ты подари мне толстую тетрадь –
Я до краёв тебе её заполню...*

Наверное, каждому, кто посещал университетское литобъединение (ЛИТО), полагалось знать плющенконо четверостишие:

*В шинели я себе казался выше,
В шинели не брала меня усталость.*

*Как я в тебя, Москва, вошёл и вышел,
Так ты в меня вошла да и осталась.*

Как-то в нашу комнату в гости к Грише Воробьёву зашёл пятикурсник с физического факультета. Мне понравилось, как внимательно и серьёзно слушает он нашего филолога. И тот представил его:

– Тоже Григорий.

Понравился он своей крутолобостью, хорошими, умными глазами. На Лито мы стали здороваться, я услышал его стихи. Помню, одно начиналось замечательно длинной строкой:

*– Ряд покатых холмов, купол неба холодный и
серый...*

После университета он уехал из Томска, кажется, в Дубну. Стал известным поэтом и переводчиком Китса и других ребят «Озёрной школы». Потом я увидел на прилавке магазина книжку «Григорий Кружков. Ласточка». Там было много хороших стихов.

Есть такая формула Иосифа Бродского: «Поэзия... – это единственная имеющаяся у нас страховка против пошлости человеческой души». А поэтическое слово «единственное средство против пошлости человеческого сердца». Когда-то Бродский предлагал распространять бесплатно сборники стихов в гостиницах, поездах, супермаркетах, уверяя, что это «несколько замедлит распространение культурного недуга в следующем поколении». В нашей юности сборники стихов расхватывались моментально. Сегодня стихи почти не востребованы, культурный недуг, кажется, победил, к тому же пошлость проникла и туда, на страницы псевдопоэтических книг.

В университетскую пору кроме приобщения к настоящей поэзии случилось и приобщение к западной литературе XX века (до того, как она пришла по программе). Это были Ремарк, Хемингуэй, Экзюпери, и я увидел в их прозе индивидуального человека, личность. Человека, выстраивающего себя. Лично отвечающего за свои поступки. Делающего свой сознательный выбор. Совсем не того советского (большей частью придуманного по заказу), силы которого приумножались в единении с массой, коллективом, в труде и борьбе. Была фигура, на которую не распространялся мой скепсис – Павел Корчагин. В детстве я прочёл его историю с детской восторженностью, в конце юности перечитал с уважением. Мне доводилось встречать подобных людей. Но тех циничных паскуд, кто взял его образ для «воспитательной работы», я возненавидел всей душой.

Мы говорили и о вере. Старшекурсники уже знали Достоевского, прочли какие-то статьи Мережковского, других мыслителей начала XX века. Мы заходили в храмы, стояли на службах. Были ребятки, которые делать это боялись: застукают и – прощай, карьера. Слава богу, такие соображения и опасения мне были чужды. На последнем курсе мы с товарищем той поры Кабаром Бачимовым пошли на всенощную и столкнулись у Петропавловского собора с заграждением из дружинников. Они стали настойчиво спрашивать имена и социальную принадлежность, намекая, не студенты ли. У нас тогда были отпущены первые в жизни бороды. И я сказал старшему, верховождящему среди них, что мы студен-

ты, но несколько особого склада. И вдруг он «догадался»:

– А, будущие служители культа!

– Хорошо, называйте так, – согласился я . И нас пропустили.

Я был крещён в малолетстве в родной деревне ссыльным священником. Произошло это втайне от отца, никто не знал, как он – фронтовой коммунист – на это отреагирует. В те, советские времена, мне нравились церковные ритуалы. Наверное, в этом был и некий протестный момент. Потому что с крушением империи отношение моё к этому решительно переменялось. Я, понятно, остаюсь верующим человеком. Но стал, если так можно сказать, заочником. Мне чужды нынешние прихожане, их длиннополые чёрные пальто, их золотые цепи, отсутствующие взгляды. Не хочу видеть, как истово мелко крестятся их спутницы, повязав платочки при входе в храм. Не думаю, что высшее проявление творчества – христианское искусство. Распятие может нарисовать всякий способный ремесленник, только что оттого. А вот если произведение проникнуто христианским духом, тогда оно родит в ответ христианское чувство в нашей душе. Это касается и живописи, и прозы, и поэзии.

В нашей комнате на тумбочке возле кровати историка Вовы Ерпылёва лежала книга «Гармонический человек». Лежала долго. Не знаю, открывали ли он этот сборник статей, но видеть книжку могли все.

С Вовой связана забавная история. Когда нас с Володей Лосевым собирались отчислять из университета (об этом речь впереди), в общежитии вдруг развилась шпиономания. Вычисляли, кто поддерживает регулярные контакты с чекистами, и почему-то остановились на Ерпыле. Он об этом узнал. Как мне казалось, достаточно тяжело переживал. Подозрение попытался развеять весьма своеобразно. На собрании, где нас исключали, встал следователь Ким и провозгласил: «Вот тут ко мне подошёл студент Ерпылёв. Говорит, что его подозревают в связях с КГБ. Хочу вам со всей определённой сказать, что студент Ерпылёв осведомителем органов не является».

Зал завыл от восторга. Но...

После окончания исторического отделения Вова уехал в Баку, по протекции папаши устроился в ...КГБ. Годы через два оказался в Томске, я как раз восстановился. Попили с ним винца. Вова со сдержанным значением рассказывал, как стоял в оцеплении толпы, когда встречали Брежнева. Генсек якобы подошёл к нему и спросил: «А вы, товарищ, где работаете?». Ерпыль на секунду растерялся, забыл «легенду», но, справившись с волнением, назвал какой-то бакинский завод.

Коллективизма я всегда бежал. Но был период – и это как раз студенчество – любил факультетские маёвки, сочинял что-то для них. Одно время состоял в редколлегии стенгазеты нашего историко-филологического. Увлекала состязательность. Мы долго не могли стать первыми. Лучше делали свою газету

«Прометей» ребята с геолого-географического факультета (ГГФ). Кстати, «Прометей» поместил большой репортаж с фестиваля, который прошёл в клубе «Под интегралом» Новосибирского академгородка с участием Галича. В газете был текст «Памяти Пастернака». Через три дня её сняли. Так вот, в этом соревновании мы всё-таки обошли геологов, и не один раз. И тоже испытали цензурные притеснения. В Новогоднем номере кому-то из шишек не понравились сияющие церковные купола, и к этому исхитрились прикопаться.

Вот случай, когда я пережил единение с массой. В Первой нам раздали факелы. Мы зажгли их, дошли колонной до памятника Ленину, там торжественно постояли, слушая речи-здравницы. Потом команда: развернуться и так же дружно до главного корпуса университета, где факелы сложить в железный контейнер. Но чудесная магия огня! Факелы пылают, и жаль их гасить. Мы прошли мимо своего главного корпуса, мы идём сплочёнными рядами, человек сто, не меньше. Кое-кто отвалил, следуя приказу. Достигли пересечения с улицей Учебной, там посреди проспекта милицейский мотоцикл с коляской, с него кричат, руками машут. Мы его обтекли и – дальше. И такой восторг полощет в душе: мы – сила, мы – вместе. Дошли до Лагерного сада, что-то покричали, даже спели хором, побросали наши факелы вниз с обрыва к Томи. Так красиво рассыпались искры! И вот тогда – уже по своей воле – отправились к родному обществу.

И как тут не вспомнить солидарность его жильцов. Не стадную, а сознательную. На втором курсе это было. Работники нашей столовой то ли расслабились, то ли просто начхали на студентов. Убогий рацион вдруг ещё уменьшился. Всё стало удивительно невкусным, и это при нашей-то невзыскательности в еде. Кто-то предложил объявить бойкот столовой. Честно, не помню застрельщика, хотя сегодня его имя можно было открыть и прославить. И вот мы спокойно шли по первому этажу к выходу мимо окон, выходящих в коридор, и бросали взгляды на пустые столы. Удивительно, но случилось почти полное единодушие – два-три штрейкбрехера не в счёт. Сначала столовские значения этому не придали, но на другой день обеспокоились, запаниковали. Пришёл проректор по АХЧ Лерман. Толик был свидетелем его попытки изменить положение, рассказывал с восторгом: «Лерман затащил туда силком двух первокурсников, на миг отпустил, а они дали дёру!». И начальству стало ясно: действовать надо по-другому. И вот через комсоргов-профоргов было заявлено, что выводы сделаны и передано приглашение посетить обновлённую столовую. Утром мы увидели подносы с разнообразной выпечкой, первые и вторые блюда предстали не в единственном числе, на столах появились солонки, раздатчицы были приветливы. Этот праздник был, понятно, не навсегда. Уровень сервиса вскоре несколько упал, но вполне нас устраивал. При нашем, повторюсь, гастрономическом аскетизме.

* * *

1968 год ООН посвятила правам человека, а геофизики объявили годом активного Солнца. И то, и другое проявилось в малом масштабе моей жизни.

Весной 68-го в кинотеатре городского сада – прохладном дощатом сооружении – мы смотрели чехословацкий фильм «Старики на уборке хмеля». Смотрели, что называется, на отрыв. На одном дыхании. Свобода дышала с экрана. Герои – молодые люди – отстаивали право на независимость и ценность своего мира. (В конце 80-х его снова прокатили по экранам, и мне уже было скучно. Вот она – дешёвая умудрённость).

А тогда при окончании второго курса стояла на дворе Пражская весна, и было в ней нечто совершенно привлекательное. И веяло обновлением, свежестью, как от всякой весны. Правда, на наши вопросы старшие товарищи-преподаватели отвечали уклончиво и неопределённо, дескать, поживём-увидим. И это было сродни осторожным статьям в газетах, где не давалось ещё жёсткой оценки событий, но и не высказывалось понимания и одобрения того, что там, в Чехословакии, происходило.

Но мы (узкий круг филологов) с юношеским воодушевлением читали манифест Пражской весны «Две тысячи слов», набранный на разбитой машинке (буквы плясали так и сяк). И ничего там не было ниспровергающего систему социализма, а было желание очиститься от мерзости партийной иерархии, строить жизнь на правде и человеческой честности и

порядочности. Это называлось «социализм с человеческим лицом». Я верил в него. Мне виделось там возрождение нравственности и человечности.

Принять это советские правители не смогли. И против той благородной идеи не нашлось аргументов лучше, чем танки. 21 августа в Чехословакию вломились войска стран Варшавского договора, то есть Советского Союза и его сателлитов.

По-варварски дико обосновали законность вторжения: дескать, сотни тысяч наших солдат здесь погибли во Второй мировой войне. «Их смертью купили право на агрессию», – заметил один умный человек. Там прошли танками по мечте, а здесь, на моей родине, стали науськивать массу давить тех, кто ещё осмеливался быть свободным. Мне кажется, многие тогда подумали: а всегда ли родина права. Тяжелый был вопрос: родина или совесть? Ведь мы – часть этой страны, а погубили наши надежды там. Романтические надежды, потому что мы так и не узнали, чем могла бы закончиться Пражская весна. А ну как наломали бы дров наши чехословацкие друзья, как говорили спортивные комментаторы. Впрочем, это уже уловка для самоутешения.

В августе 68-го в Прагу вошли танки.

В январе 69-го нас выставили из университета.

Может быть, здесь уместна будет небольшая вставка. Дело в том, что другого места я никак ей не подберу.

Как быстро обрастает легендами былое время! Товарищ дал мне почитать книжку стихов, издан-

ную в Благовещенске. Вот она: « Светлана Аркадьевна Борзунова. Ты – моя судьба. Стихи. Благовещенск, 2001 ».

Я помню Свету Борзунову вузовских, университетских лет всегда в движении, куда-то спешащей – в библиотеку, в киноclub, на редакционное задание. Говорила она тоже на ходу – всегда чётко, определённо, с пристрастием. Писала стихи. На фоне филологических манерностей сокурсников и сокурсниц они выделялись естественностью интонации и жеста. Видно было, что написаны из душевной потребности. Стихи нравились мне этой открытостью, какой-то даже задиристостью: «А я вот такая!». И я увидел, читая эту последнюю, уже посмертную её книгу, что всё это сохранилось, а прибавилось мастерства и жизненного опыта.

Начал читать послесловие. Тут остановился и призадумался. Вроде речь шла о том самом, общем для нас времени и одних для нас обстоятельствах. Но разрази меня гром – не помню я таких людей и таких событий!

«Самиздат» был широко распространён и активно преследовался. За распространение романов Солженицына загремели на три года на лесоповал три студента нашего факультета. Они вернулись и восстановились на наш курс, угрюмые, повзрослевшие, малоразговорчивые. Один из них сразу хмуро предупредил: при мне лишнего не болтайте, я теперь сексот. Никого из наших он не заложил. Но факты вокруг нас имели место. И было это как правила некой всеобщей игры с огнём. Извернись и напиши между строк так, чтобы поняли и не схватили».

Три последних приведенных фразы достаточно невняты, как-то героизируют ситуацию. Ни «фактов», ни «игры с огнём», ни искусства писать так, чтобы «поняли и не схватили» – ничего этого никогда не было. Но так вспоминается! И что тут поделаешь.

«Очагом демократии в вечно оппозиционном властям университете была многотиражка «За советскую науку», куда я пришла в начале первого курса. ... В студенческом киноклубе показывали тайком картины, положенные Госкино на полку. Культурная жизнь цвела и давала тайные ростки».

Боже мой! Многотиражка была хороша, но не более того. Университет был таким же послушным властям, как его собратья по всей стране. Фильмов, положенных на полку, нам в киноклубе не показывали – этого просто быть не могло! Шли картины «второго экрана», распечатанные малым количеством копий: «Кто вернётся – долюбит», «Чистые пруды». Хорошие фильмы, было о чём поговорить. Но тайных всходов культурной жизни я не приметил.

И вдруг я понимаю, что три студента, загремевшие на лесоповал – это мы! То есть, опять же всё не так, но другого не было. Загремел один, и не на лесоповал, а на лесозавод в Енисейский край (это всё-таки несравнимо легче). А двое других были просто вытурены из студентов. И руководство «оппозиционного» университета не противилось такому исходу. Вернулись и восстановились мы не все, только Володя Крамаренко да я. И не помню нас угрюмыми и малоразговорчивыми. Так что хочу я эту историю

представить здесь во всей подлинности. Понятно, не так она романтична и сурова. Но в ней есть другое.

Итак, в январе 69-го нас выставили из университета.

Мало того, что выставили. Исключение сопровождалось грязной статьёй, напечатанной в областной партийной газете «Красное знамя» 17 января 1969 года. Называлась она «Я отвечаю за всё». Её автор – В. Ф. Брындина – определённо знала, что никто ей возразить не сможет, потому не боялась перевирать нашу историю и просто врать. Я ходил в эту редакцию, встретился с автором, но в разговоре понял, что нахожусь в дурацком, унижительном положении. Слушая меня, она смотрела насмешливо, а потом сказала, что обошлись с нами мягко, что дали шанс исправиться и стать людьми.

Лишь двадцать лет спустя я смог ответить ей на страницах молодёжной газеты. Вот он, мой ответ.

Я ОТВЕЧАЮ ЗА СЕБЯ

«Три Владимира учились на ИФФ (историко-филологический факультет – авт.) два с половиной года. Одному из них – Владимиру Крамаренко – недавно пришлось пересест с университетской скамьи на скамью подсудимых: он совершил уголовное преступление. Не тишина научной библиотеки, не огни аудитории тянули посвященного в сан студента. Он был связан с пьяницами и развратниками. Это привело к тому, что Крамаренко морально разложился и запел с чужого голоса, объективно оказался на чуждых идейных позициях».

Читатель! Если тебя заинтриговало такое вступление, прошу следовать за мной. Обещаю, что, как завещал великий Чехов, это ружьё обязательно выстрелит. Детективного в нашей истории будет мало, хотя и не без того. А попутно хочу показать, как творятся мифы, или как легко и безнаказанно можно было творить их в недавнюю пору (в нашем случае – 20 лет назад).

Известие о братской помощи Чехословакии застало меня в августе 68-го в гостях у дяди Глеба, накануне отъезда домой.

– Ну, будет заваруха! – сказал я дяде, подразумевая партизанскую войну, долгое сопротивление.

– Да ничего не будет! – отвечал более здравомыслящий Глеб Васильевич. – Всё сделают как надо.

И правда, пока я добрался от Ачинска до Томска, братский народ уже успокоили. Однако разговоры, конечно, шли вовсю. Я работал с ребятами-физиками. Мы устраивали в дверях главного корпуса тёплую вентиляцию. Технари отстаивали повешенную нам на уши официальную лапшу, что если бы не мы, то вошли бы западные немцы или американцы и тогда социализму – труба. Мы – гуманитарии (нас было явно меньшинство) что-то говорили о демократии, о «Пражской весне», о статьях в их студенческих журналах (один из них ловко назывался – «Попросту»). Мы цитировали им «Две тысячи слов» – замечательный документ человеческого и гражданского достоинства.

– Откуда вы взяли? – наседали технари.

Мы несколько сникали. Назвать попросту, как

источники, Би-би-си или «Голос Америки» было не очень удобно.

Однажды из деканата меня известили, что в такой-то день в таком-то часу я должен стоять у ворот университета и встречать человека, который сам меня опознает. «Забавно», – подумалось мне тогда.

Человек был, как помню, в кремовом плаще. На лице его лежала лёгкая, что называется, располагающая улыбка. Прошли какие-то полста метров, сели в машину, и вот мы в уютном кабинете на Кирова, 18. КГБ. Комитет государственной безопасности. Так я впервые переступил порог этого заведения, не предполагая, что дальнейшая моя жизнь с этого часа пройдёт в некоторой зависимости от могущественной организации.

Человек ненавязчиво поспрашивал меня, о чём говорит студенчество, как оценивает положение в Чехословакии, каковы собственные мои об этом соображения, чего мне в принципе недостаёт в нашей духовной жизни. Я отвечал ему, что вторжение воспринимают по-разному, сам я не определился, а в духовной жизни мне явно недостает изданий Пастернака. Он тут же припомнил словцо «вторжение», справедливо заметив, что этим кое-что сказано, но опять мягко улыбнулся, уверил, что в будущем году выйдет собрание Бориса Пастернака. Собеседник взял с меня обещание, что я не буду распространяться о встрече в КГБ. Видимо, решил я, какую-то профилактику надо было провести.

Недели через две утром меня разбудило прикосновение незнакомой руки. Спокойный голос попросил: «Владимир Михайлович, вставайте. У меня

ордер на обыск». Мне не пришло в голову ничего лучшего, чем нелепо пошутить. Я сунул руку под подушку и сказал: «А пистолет-то вы уже взяли». Капитан рассмеялся просто, по-человечески. Не убоюсь гнева непримиримых и скажу, что он остался у меня в памяти приятным и порядочным человеком. Как уж занесло его на службу в КГБ, мне неведомо.

Однако, обыск. Явление неприятное. В другой раз, через несколько лет, его величали мягче — досмотром, но суть от того не меняется. Чужие руки шарят в твоих бумагах, чужие глаза вычитывают строки, которых не доверял пока и самому близкому. Капитану помогали двое студентов-оперативников из ТИАСУРа. Они подивили меня дотошностью и прямо какой-то неистовой добросовестностью.

В результате сложили в портфель несколько журналов «Куба» с порезанными страницами, самодельные плакаты типа «Пей виски!», которые мы использовали в нашем любительском фильме про ковбоев. Забрали и меня с собой. В кабинете КГБ всё окончательно прояснилось, хотя я кое о чем догадался, когда забирали порезанную «Кубу». Слова или буквы заголовков оттуда мой товарищ Крамаренко использовал в оформлении своего рукописного издания.

Ну да, собственно, это издание и разожгло весь нелепый сыр-бор, так что нужно о нём сказать. Волею с несомненным даром оформителя куда-то хотелось приложить свои силы. Вот и появился журнал с нетрадиционным таким названием «Белые тени». Издателем значился Вольдемар Крамер — так на западный манер повеличал себя Владимир.

Гвоздем номера был фрагмент стенограммы суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем. Володя записал её на магнитофон с передачи Би-би-си. В конце номера броско, с размахом было представлено расписание работы этой радиостанции. Информация о предполагаемом нахождении нациста Бормана в Южной Америке проходила под заголовком «Жив курилка!». Этим, пожалуй, криминал исчерпывался. Наши гуманитарные этажи листали произведение Крамера. Разные оно вызывало чувства, но никому не пришло в голову настучать. Проделал это какой-то политехник.

...К вечеру я был дома, а вот Володя домой не вернулся. «Задержан, арестован» – какие зловещие слова. И за что? Неужели за это? Ну, понятно, хулиганство, разбой, воровство. Нет, оказывается, и здесь тоже есть повод. И для этого есть статья. Под неё хотят подогнать Володю. И арест лишь преддверие суда, на котором будет оглашён приговор и определена мера наказания.

Из тех знакомых Володи, кто остался на свободе, особо грозные тучи зависли надо мной и сокурсником Володи Лосевым. Понятно, почему. Мы – трое – были дружны, часто бывали у Крамера дома, хорошо знали, чем он занимается.

Вот так это излагалось в областной газете «Красное знамя»:

«Ну, а два его товарища-сокурсника – Владимир Лосев и Владимир Крюков? Они знали, чем занят друг, самовольно взявший на себя обязанности редактора и автора рукописного журнала. Они читали плоды «литературной» стряпни Крамарен-

ко – мешанину порнографии, недомыслия и клеветы, заимствованной из передач Би-би-си и «Голоса Америки». Два студента могли остановить третьего, но не сделали этого. Хотя уголовное преследование в отношении Лосева и Крюкова прекращено (они проходили по делу Крамаренко лишь как свидетели), моральная вина и гражданская незрелость этих двоих доказаны вполне».

Оставляю на совести автора хлесткую характеристику, припечатавшую людей, с которыми она даже и не разговаривала.

На допросах от нас добивались какого-то осуждения и покаяния. Осуждения «деяний» Крамаренко и покаяния, что не настучали в комитет ВЛКСМ, профком, деканат, органы. Хочу избегать громких слов, но есть же человеческие заповеди порядочности. Ну вот никто не внушал мне, что нехорошо доносить, что довольно гнусно навязывать свои убеждения другому и что нет ничего постыдного, если твоё мнение не совпадает с мнением большинства. Но именно эти моменты и обернулись против нас. Слава богу, несмотря на всю нашу инфантильность и некоторый страх, внушенный органами, нам не пришлось в голову каяться и наговаривать на себя. Мы признали знакомство с творениями товарища, но никак не хотели величать их антисоветскими, состоящими из клеветнических измышлений. Нас спрашивали, знакомы ли мы с таким страшным кошунством, как соединение на звуковой пластинке фрагментов речи Ленина и интермедии Райкина. Знакомы. Смешно. Может быть, несколько рискованно.

– И всё?! – спрашивали нас. – И всё?!

Короче, становилось ясно, что не на том факультете учимся, что нам недостаёт политической зоркости. Где-то накануне Нового года состоялся суд – Володе Крамаренко дали три года ссылки. Было понятно, что по-своему обречены и мы. Близился финал нашей университетской жизни. Правда, каким он будет, мы не ведали. Наконец прояснилось: предстоит факультетское собрание.

Задумано было целое шоу, как бы теперь сказали. Итак: выразить нам общественное презрение, дать урок ещё кое-кому, подтвердить верность идее и непримиримость к инакомыслию. К счастью, замыслам не дано было осуществиться. Всё-таки наше поколение и те, кто был постарше, ещё успели глотнуть свободы. Ещё пел Галич, редактировал «Новый мир» Твардовский, ещё не упрятали в спецфонд «Реализм без берегов» Роже Гароди, и некоторые преподаватели называли Солженицына большим писателем. Ещё до суда над Володиёв в общежитии организовали сбор подписей в его защиту, и подписали все, кто знал его или хотя бы вник в ситуацию. Так что устроители просчитались.

Здесь хочется говорить высоким штилем. Собрание это – одно из светлых воспоминаний в жизни. Не люблю толпу, её легко наэлектризовать или попросту науськать, на что, видимо, и уповали. Но пришла не толпа, пришли люди, которые не собирались быть чьими-то подголосками.

Аудитория амфитеатром была полна народу. Не помню, кто уж там обрисовал картину нашего падения, атрофию бдительности и полную деградацию. Вышло двое-трое подставных комсомольско-про-

фсоюзного толка. Осудили. Предложено было высказаться желающим. Вот тут и началось то, чего никогда не забыть. Выходили ребята, которые нас знали и говорили то, что думают и о нашей истории и об этом спектакле.

Не забуду взволнованного голоса Толи Леминского, страстного выступления Бори Соколова. Тут-то организаторы засуетились, вспомнили о регламенте, стали кричать (как раз на Борином монологе):

– Хватит! Время!

И вдруг аудитория отозвалась сотнями голосов:

– Пусть говорит!

Через минуту Борю уже за руку оттащивали в сторону. Вышел ещё кто-то из ставленников, его сразу раскусили, и как лавина с гор покатилась – это сотни ног забарабанили по доскам аудитории. Говорить невозможно, остановить ужасный стукоток тоже – кто там молотит ногами, не видно. И это не было безудержной забавой. Нет, каждого выступающего начинали слушать, и быстро становилось ясно, где человек, а где функционер. Помнятся говорящие фамилии этих: от партии – Корокотина, от комсомола – Кряклина. Но их слова буквально забивали. Это был крах для организаторов, это была победа здравого смысла. Никаких резолюций не удалось протащить, никаких оргвыводов. Помню в коридоре растерянное лицо нашего декана Бориса Георгиевича Могильницкого, вынужденного присутствовать на этой комедии. Он просидел всё собрание молча и этим сохранил студенческое уважение.

А так подытожила собрание автор статьи в «Красном знамени»:

«...разлетелся в прах тезис о «тонкой поэтической натуре» Крюкова, о том, что Лосев тоже «личность мыслящая». Видно, фразы эти бросил желающий уберечь их от законного гнева товарищей.

...И такие люди жили среди нас, готовились стать литераторами, учить детей! – с горечью констатировали комсомольцы. С некоторым опозданием, но в полный голос прозвучали слова: «Я отвечаю за всё». Эта фраза – синтез коллективизма и высокого назначения личности...»

В этом пассаже, написанном с пафосом, нет правды. Не было законного гнева товарищей, не звучало на собрании и одиозной фразы «Я отвечаю за всё» (по крайней мере, никто не смог её припомнить после газетной публикации).

Триумф наш, конечно, был кратковременным. Провели собрание и в учебной группе. Наши девушки искренне – под контролем Веры Михайловны Яценко – покрыли нас позором, вынесли решение: просить об исключении из вуза и комсомола. Сделалось им немного обидно, когда узнали, что исключить меня из рядов ВЛКСМ нельзя, поскольку я в них не стоял вовсе. Однако стены университета мы оставили, ознакомившись с приказом, замечательная формулировка которого незабываема: «За поведение, порочащее достоинство советского студента».

Декан проводил нас тепло и дал понять, что путь обратно не заказан. Через полтора года я вернулся, представив положительную характеристику из сельской восьмилетки, и благополучно доучился, защитив у той же Веры Михайловны на отлично свой диплом. Володя Лосев завершил образование в Ке-

мерове. Володя Крамаренко, отбив свою ссылку в енисейских краях, тоже закончил наш филологический.

Дальнейшая жизнь их потекла в иных местах. Крамер уехал за Урал, в Россию. Лося унесло на противоположный край страны, на Дальний Восток.

А мне не хотелось покидать любимый город. Пришлось через это претерпеть. Кто только не припоминал мне пресловутое исключение. Шли годы, но никакой срок давности на меня не распространялся. Идеологический глаз, не моргая, держал меня в поле зрения. Публикации в областных газетах проходили непременно под псевдонимом.

Однажды взяли было в «Молодой ленинец». На третий день работы редактор сказала, что со мной хотят побеседовать в обкоме. Сели с двух сторон комсомольские лидеры Шуварики и Точенов и после дежурных вопросов перешли к позорному факту биографии:

– Ну, а произойди такое сейчас, как бы вы себя повели?

– Пожалуй, так же, – честно ответил я.

Идеологи оторопели:

– Представьте: человек в беде, просит помощи, вы оказались рядом. Неужели не поможете?

– Почему же, – сказал я, – помогу. Но это уже другой случай. Ваш пример неудачен.

Меня отпустили с миром. Наутро редактор печально сказала, что, видимо, не смог я себя повести как надо и в результате – не рекомендован.

Подобные ситуации повторялись. Мне кажется, многие исполнители уже и не знали, в чём там – в

днях моей юности – было дело. Осталось клеймо «не нашего» человека да сотворённый по-советски миф.

«Молодой ленинец»

29 июня 1990 года

Надо сказать, автор боевой статьи «Я отвечаю за всё!» работала в этом 90-м году несколькими этажами ниже, в редакции той самой партийной газеты «Красное знамя». Виктория Францевна Брындина была в эту пору пожилой, но не утратившей привлекательность женщиной. Где-то через неделю после публикации моей отповеди ехал я лифтом вниз. На четвёртом этаже лифт остановился, и вошла она. Мы продолжили путь. И несколько этих минут она в упор смотрела на меня со странным живым интересом, так что даже некоторым образом смутила. Я так и не знаю определённо, прочла ли она мою работу. Коллеги-газетчики уверяют, что прочла, тогда ещё было принято просматривать, что пишут собратья, и газет-то было всего две – молодёжная и взрослая.

ДОПОЛНЕНИЕ 1999 ГОДА

Когда в то далекое лето я написал вышеприведенную статью, была она несколько больше – хотелось рассказать ВСЁ. Но отведённой газетной площади (кстати, немалой) не хватило. Как ни старались мы тогда с двумя Сергеями – Симоновым и Сердюком –, пришлось чем-то пожертвовать, а именно предысторией ареста Крамера. Сейчас я имею возможность восстановить сокращённый текст.

В 1966 году, когда я поступил на первый курс историко-филологического факультета, в одной группе со мной оказался парень из Красноярского края Володя Лосев. Мы с ним довольно быстро сошлись. Нас объединила безудержная любовь к стихам и старому Томску. С началом тёплых весенних дней начались наши долгие прогулки по городу. Уставая бродить, мы выбирали скамейку на солнышке, открывали бутылку доброго молдавского портувейна, пили по очереди из горлышка, читали друг другу Кузмина, Мандельштама, Волошина – то, что недавно откопали в любимой нашей Научке. А коли филологов мужского рода пересчитывали по пальцам, то скоро мы сдружились с однокурсником Володей Крамаренко, томичом. Володя был, что называется, классический западопоклонник. Он слушал радиоголоса, читал «Америку». После знакомства просил называть себя просто Крамером. Он открыл мне дверь в мир рок-музыки. Лось как-то остался этому чужд, а я навеки пленился битлами, впервые услышанными с крамеровской «Кометы».

У него же услышал я с магнитной ленты записанный по трансляции рассказ о судилище над Синявским и Даниэлем. Мы решили, что людям надо знать правду. И задумали выпустить листовку и уже соображали, как распространять её: разбросать на сиденьях в автобусе, в залах кинотеатров. Но прежде надо было её отпечатать. Техническую сторону дела взял на себя Крамер.

Договорились встретиться у меня в Тимирязеве, в родительском доме. Мы с Володей Лосевым уехали с ночевой. Утром появился Крамер, но не один – с

приятелем. Мы немного удивились, но Володя сказал, что парень свой и ему можно доверять. Этот самый приятель – Игорь Никитинский – нас потом благополучно и заложил.

Разгорался летний день 67-го года. Мы полны были самых благородных помыслов. Крамер устроил какую-то смесь с желатином, разлил её в мелкую ванночку, поставили в холодильник. Через некоторое время на застывшую поверхность был нанесен текст. Но гектограф не сработал – студень тут же растаял, первый же лист провалился и напрочь размазал буквы. Тут подошла мать с работы. Пришлось затею оставить. Мы с Лосем взялись читать конспекты (шла летняя сессия), Крамер поехал готовиться домой. Надо сказать, железной последовательностью мы не отличились, попыток создать листовку не возобновили.

На рубеже весны-лета 1968-го почему-то нас не тронули. Думаю, что и журнал Крамера, и наша листовка были взяты на учёт как некие шалости, но после августовских событий в Чехословакии под увеличительным стеклом бдительности они предстали не такими уж невинными...

После Августа 68-го мне стала очевидной профанация идеи социальной справедливости. После Августа воцарились безнаказанная ложь и почти не скрывааемый цинизм на всех официальных уровнях. А как больно было наблюдать манипуляцию людьми. Люди зависели от больших сволочей либо продвижением по службе, либо очередью на квартиру. И куда девались их человеческий облик, гордость, до-

стоинство. Всё отменял страх потерять эти подачки в случае несогласия с большой или малой ложью. Мне кажется, мало кто думал о том, что в будущем ему станет стыдно за такое прогибание.

Противны были и ловкачи, которые с подмигиванием и кривлянием лопотали что-то типа «иду в эту партию, чтобы разрушать её изнутри, чтобы лучше узнать врага» и т.д.

Тут лишний раз о стыде. Мне не было стыдно за покорный, прибитый революциями, войнами, коллективизацией народ. Я понял, что он сломлен навсегда. Стыдно было за себя. Это особенно остро, больно почувствовал я в дни чешских событий, когда в августе 68-го в Прагу вошли танки. Но и в это время я не возненавидел Россию. Её стариков и великих творцов. И только тоски прибавилось. От безысходности. От неизбежной причастности к этой жестокой стране.

Так для меня кончились 60-е годы.

Что я вынес оттуда? Установку на всю последующую жизнь: «Не врать самому себе». Для меня это не просто красивые слова. Это стало символом веры. И усвоилось не как постулат какой-то, а просто и естественно. Не надо сваливать всё на внешние обстоятельства, хотя это так удобно и вроде убедительно. Тотальное, абсолютное зло всегда будет в победителях. Это я знал и знаю. И всё равно, несмотря на это постарайся остаться на стороне добра. Это не так уж и жертвенно – это условие самоуважения.

* * *

После исключения я отправился зарабатывать трудовую характеристику. Полетел на родину, в село Пудино Парабельского района. Пришёл в школу. Там, оказывается, читали статью в партийной газете, я почувствовал отторжение и неприязнь. Зашёл в аптеку, где когда-то работала мама, познакомился с девушкой, сидящей на выдаче лекарств. Мы с ней подружились, гуляли зимним вечером. Целовались. Она жила в так называемых Больших Домах. Так во времена моего детства величали два двухэтажных бревенчатых сооружения. Её соседом на площадке второго этажа был молодой учитель, как я понял, к ней неравнодушный. Он просветил её насчёт моего морального облика и вообще представил залётным искателем приключений. Наши отношения расстроились.

Мне было жаль оттуда уезжать, я жил эти дни у замечательной своей тёти Дуси, материной сестры. Она рада была бы, если б я задержался. Судьба у неё не сложилась, жила одиноко. В спутники себе случайных мужчин не брала, а близкого не встретила. Была человеком удивительной доброты, работающей, острой на слово, с хорошим чувством юмора. Она была, наверное, главным читателем нашей поселковой богатой библиотеки. (Я в те дни взял там и прочёл «Бесов» из серого десяти томника Достоевского). Тётя Дуся тоже читала не что попало, я посмотрел из интереса её карточку – Чехов, Лесков, Шишков. Конечно, там были и читаемые тогда советские «классики» – Марков, Анатолий Иванов.

Потом – Татьяновка, деревня Шегарского района в одну улицу. Дали мне нагрузку в тридцать часов. Я справлялся. Директор школы Леонид Васильевич Груздев помогал и словом и делом. Кроме русского и литературы повесили на меня немецкий язык. И с удовольствием я им занимался, поддерживая свою форму. Для учеников придумал такой финт. Сочинил пьесу, помню и название: «В лапах генерала». Стали готовить к постановке. Фашисты в ней говорили по-немецки. Пусть немного, несколько фраз, но их нужно было не просто заучить, а понять значение, чтобы хорошо сыграть. И дал я роли генерала, его помощников самым, пожалуй, нерадивым ребяташкам. Они блестяще справились. В ту пору и актёры, и зрители очень любили самодеятельный театр. Наш спектакль в деревенском клубе прошёл на ура.

Кстати, в тот вечер, когда я впервые приехал в деревню, в деревенском клубе тоже был вечер с инсценировками басен Крылова. Подготовила его учительница, пенсионерка уже преклонных лет Евфалия Алексеевна. И зрители, аплодируя, кричали ей «Браво!», а друг друга спрашивали с гордостью: «Видал моего? Молодец!». Поразительно была разыграна «Демьянова уха». Парнишка, изображавший соседа Фоку, был забавен уже самой внешностью, простоватой и лукавой. Исполнители несколько извращали замысел баснописца. Демьян не казался таким уж навязчивым, потому что Фока охотно хлебал уху большой ложкой и по клубу расходился вкусный запах. Фока охотно принимал добавку и покорно благодарил. Чтобы не томить зрителя, они перекидывались

фразами не по тексту басни про ершей, окуньков и щуку. В то время как девочка, появляясь с боку сцены, дважды сообщала: «Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку». Зрители включились в действие, подавая реплики: «Ой, похоже, вкусно!». Одна бабушка крикнула: «Оставь маленько!», засмеялась, прикрывая рот уголком платка. Всё-таки артисты доиграли действие: Фока лез под стол, спасаясь бегством. Зал хохотал, и я вместе со всеми. Звали на сцену Евфалию Алексеевну, и она вышла – сухонькая, седая, аккуратная, в тёмном платье – и поклонилась. Она всегда подменяла больных педагогов и охотно бралась за подготовку таких вечеров и утренников.

Директор привёл меня на край деревни, в дом к Фёдору Ивановичу и, прося определить на постой, сказал: «Веселее будет». Старик ответил, прищурясь: «И так не скучаю». И мне это понравилось.

Страшно морозило и пуржило в ту зиму с 1968-го на 69-й. Крепко держа сумку с тетрадями, брёл я в школу. Доходил ошалевший, продрогший. Вскоре зачихал и закашлял. Дали больничный аж на три дня. Какое чудное время! Арина Васильевна заварила малины, заставила есть с мёдом, а Фёдор Иванович, конечно, намешал самогон с перцем: «Вернейшее средство». Я употребил всё. Лежал в темноте, забыв сегодняшние заботы. Вспоминались комнаты и коридоры общежития, товарищи, безответная любовь. В этой сердечной пьяной темноте не хватало голосов Окуджавы и Галича и любимого тогда француза Адамо.

В магазине, где продавалось всё – от хлеба и консервов до книг – обнаружил томик Сэлиндже-

ра, даже три. Купил все. Один вручил читать восьмикласснику Гончарову, который казался развитей других. Тот, возвращая книгу, благодарил, смущённо уклоняясь от моих вопросов: «Вообще-то я другое люблю...». Всё правильно, говорил я себе, шагая домой из школы, щурясь от солнца на снегу – дело шло к весне. Всё правильно, давно ли я сам читал о приключениях майора Пронина или капитана Блада? Вот и учить готовить их к другим книгам. И старался в том же восьмом классе урывать минут пять на уроке, чтобы говорить о чтении.

Школа перестала быть каторгой, я стал различать ребяташек, почувствовал их расположение.

Весной приехал на несколько дней знакомый по общежитию Виталик Полищук. Учился на юридическом, но главным, всепоглощающим для него в жизни были стихи. Нет, сам он не сочинял, но чужие любил страстно. В большой поэзии это были стихи о



С Федей Госпорьяном.

русской природе – Тютчев, Фет, А.Толстой, Некрасов, Есенин. Среди своих, живущих рядом, он выделял Госпорьяна. Виталик делал машинописные сборники, где под одной обложкой рядом можно было читать «Фёдор Тютчев...Фёдор Госпорьян...». Мне в эти сады высокой словесности вход был заказан.

В ту пору я любил яркие стихи Госпорьяна.

Одинокий кричит коростель.

Надвигается дождь, вечереет.

Будет ночь, бесконечна, как степь,

Как тайга, что за степью чернеет.

Я слушал его в общезжитии со стороны, не напрашиваясь в приятели. Читал он ровным, густым, красивого тембра голосом. Так вот, Виталик приехал не один, а с Госпорьяном. Наверное, я робел первый вечер, а в следующие дни мы сблизились, стали своими. Говорили до полуночи и за полночь, читали стихи. И я спрашивал, почему же Федю не печатают в Москве. «Там столы редакций забиты на годы вперёд», – отвечал он, улыбаясь. Густая чёрная борода Фёдора сбивала с панталыку наших сельчан, решивших, что он поп. Может быть, не обошлось без участия моего хозяина деда Фёдора, плут был добрый, любил пошутить, «заняться юмором», как он говорил. Но Федя, войдя в роль, достойно и серьёзно крестил встречаемых старушек, отвечавших ему поклонами.

Я проводил их сначала до райцентра. А там и до самой Оби. Мы попали почти на время ледохода. Кромку льда, пока ещё державшего Обь, отделяло от берега несколько метров покой, открытой воды (что у нас называется разводье). Под водою, конеч-

но, был донный лёд, но насколько он близок к поверхности и насколько крепок, никто не знает. Тут, на берегу, переобувался в пимы мужчина, только что перенесший на лёд подростка, который уже шагал к тому берегу. Там, как мы знали, такой промоины не было. «Дай на минуту», – попросил я у него, указывая на сапоги-бродни (это с высокими голенищами, кто не знает). Он разрешил и даже, подойдя к воде, приблизительно показал, где лучше идти. Я взял Федю на закорки и полез в воду, вскоре через резину почуяв её лютый холод. Остроту ощущениям прибавляло и то, что шагать приходилось вслепую. Но вот я благополучно ссадил Федю и пришел за Виталиком. Этот неожиданно оказался значительно тяжелее. И тут, как нарочно посередине пути, я почувствовал, что нога моя теряет опору и погружается в глубину. Из всех сил рванул вперёд, переставил её, достиг цели. Студёной была не только вода, озноб пробежал по загривку и спине.

Забавно, что через два месяца холодная вода и Федя опять сошлись в моей жизни. Был месяц май. Фёдор приехал в Татьяновку, сказал, что рад повидать меня, но ему надо в село Монастырка поговорить с директором совхоза о возможном калыме. Туда можно было проехать просёлочными дорогами, минуя три деревни. А надо сказать, что дед Фёдор доверял мне свой мотоцикл К-75. В общенародной огласовке «Козёл». Сели мы с Федей и поехали. Кто знает эти просёлочные дороги, не разбитые техникой, не обезображенные колеями, а укатанные телегами да колесами мотоциклов, тот меня поймёт. Мы

домчали почти до места. Село просматривалось на крутом взгорье. Но нас разделяла река, неширокая, но и не узкая. Мало я видел рек настоящего синего цвета. Вот Шегарка – одна из них. Разве мог я тогда подумать, что она опять возникнет в моей жизни четыре года спустя! (Но об этом в другом месте). Так вот: на том берегу была причалена лодка с веслом, значит, перевозчик отлучился ненадолго. Мы побродили вдоль реки. Посидели, разговаривая о разном. Солнце перемещалось по небу, а лодочника так и не видно. Не помню, Федя ли намекнул, либо я сам вызвался. Потрогал воду – холодная, но терпимая. (Потом я узнал, что вода в ней даже в июле только чуть теплее). Плавать я всегда любил и плавал хорошо. Разделся, поискал более-менее удобного схода и вошёл в воду. Сразу понял, что плыть надо быстро, чтобы не околеть и разогнать кровь. Думаю, что показал неплохой кроль. Попрыгав на берегу, растерев тело руками, сел в лодку и так же активно заработал веслом. Надо сказать, что солнце в тот день хорошо грело, было моим союзником. Я перевёз Фёдора на другой берег и остался ждать. Он вернулся довольно скоро ни с чем – калым обломился. Лодочника не было. Что делать? Наказать его, угнав лодку, нехорошо. На счастье на том, нашем, берегу появились и стали махать нам руками мужик с бабой. Всё образовалось само собой.

На обратном пути уже почти у деревни я увидел с мотоцикла свою девушку. Она стояла в повязанном платочке, стройная, в клетчатой ковбойке, в облегающих брюках, заправленных в сапоги. Она смотрела

на меня пристальным, испытующим взглядом. И я отвёл глаза, потому что надо же было глядеть на дорогу. Ну и потому, что стало мне неловко. Или стыдно? Но по-настоящему стыдно стало сейчас, когда я вспоминаю это бывшее время и пишу о нём. И не могу вспомнить её имя. Ну да, четыре с лишним десятка лет. И всё-таки, какой стыд! Несколько лет назад я «отдал» её герою моего рассказика вместе с именем. Я полез в свои компьютерные папки, но прежде чем нашёл, оно возникло и прошелестело в ушах: Саша.

Учительствуя в деревне, я вёл уединенный образ жизни. Мало того, что уставал после шести ежедневных уроков. Но ещё и жил памятью об университете, общежитии, переписывался, оставаясь душою там. Даже книги не надо было привозить, в деревне была очень хорошая библиотека. Но вот уже весною девушки-учителя зазвали-таки меня на какую-то посиделку. Они жили не на квартире, как я, в их распоряжении был дом – большая кухня и такая же большая комната. Войдя вечером в этот дом, я увидел её. Она посмотрела на меня с интересом, открыто, весело. Живые восточные глаза, у меня ещё промелькнуло: не татарка, не из Средней Азии, что-то иное. Она и рассказала потом, что метиска – папа башкир, а мама русская. Пришли два местных хлопца, отслужившие армию, ухажёры моих коллег-учительниц. Мы пили вино, шутили. Вышли с нею на крыльцо, я, робея, обнял её и она отозвалась. Тело было гибким, как ветка. Потом я узнал, что довелось заниматься в балетной студии. А потом почему-то Омский сельхозтехникум и по распределению – к нам. И вот она

стала моей девушкой, моей первой женщиной. Она квартировала у родителей моей ученицы. Я приходил вечером, заставлял лаять собаку, и Саша выбегала ко мне. Вскоре моя ученица Светка просекла меня и глядела на уроке лукаво, намекая, что она посвящена в некую тайну. Ну и ладно. Как-то Саша появилась у ворот деда Фёдора на коне, возвращаясь с полей. Я выскочил на улицу – как красиво она сидела в седле, как смеялась. Она привязала коня за кольцо, по старой традиции прибитое к столбу ворот. Мы прошли по двору мимо бабы Арины в дом, в мой закуток за печью, там только фикус и кровать помещались...

И вот этот пристальный взгляд. Уже неделю я не появлялся под её окнами. И конечно, Светка могла доложить, что я не болен, хожу на уроки. Просто я уже знал, что уеду. Надо ли было объясниться? Ничего мы друг другу не обещали. Но чувство вины и острой жалости не позволило пойти и увидеть её напоследок. Вот только так, с мотоцикла. Уезжая из Татьяновки, Госпорьян сказал, что калым всё равно будет найден и обещал взять меня в бригаду. Он сдержал слово. Дней через десять я покинул дорогую мне деревню. И летом 69-го впервые участвовал в так называемом калыме. И эти впечатления отдалили образ Саши, а последующие события и вовсе стёрли его из памяти. И лишь совсем недавно она вспомнилась раз и другой с той самой светлой печалью, с которой вспоминается Руся герою бунинского рассказа. Да простится мне эта литературная аналогия, но ведь я и дальше пошёл по этой дороге – Саша появилась в одном моём рассказике, и мне хотелось рассказать о ней тепло и благодарно.

Мы жили в нескольких километрах от райцентра Кожевниково вполне комфортно, в просторном вагончике. Вокруг – березняк с широкими солнечными полянами. Вот только воды в окружающей природе не было. Мы купались в большой бочке, в ней привозили воду для раствора. Строили птичник этакой разношёрстной бригадой.

Федя был бригадиром, ещё – Виталик, мой друг Володя Лосев, исключённый вместе со мной. Этих я знал. Виктор Лаврищев тоже наш студент-историк, но познакомиться пришлось только тут, в работе. Ещё Павел Крачковский, крепкий, сдержанный в общении парень. И ещё Миша Казанцев, который ушёл с нашего факультета в армию, теперь демобилизовался и с начала учебного года восстанавливался в число студентов. А нам с Лосем думать о восстановлении пока было рановато. Главное, что в бригаде были те, кто умел выкладывать стены – Фёдор, Миша и Павел – а мы, подсобники, таскали носилками раствор, подавали кирпич по цепочке на стены. Руководители совхоза поступили мудро: над всеми был поставлен их человек. Он приезжал рано утром на велосипеде. Он заводил бетономешалку, отмерял опытным глазом соотношение песка, цемента и воды, готовил строительный раствор.

В то лето я сдружился с Витей Лаврищевым. Каждый день Витя на велосипеде нашего мешальщика ездил в райцентр за газетами – это были «Правда» и «Комсомольская правда». Первую он читал, как и нужно – между строк, во второй мы находили что-то интересное. И вот однажды мы услышали басовитый

воплъ Лавра, подъезжающего к стройке. А потом увидели его. Размахивая газетой, он кричал: «Люди на Луне!». Мы не сразу и поняли, в чём дело. А когда поняли, как и положено, обрадовались. «Правда» сообщила об этом петитом в три строки в загопинке промеж других новостей – космонавты-то были американские. Их называли астронавты. Зато «Комсомолка» (надо отдать должное) поставила материал на первую полосу с фотоснимком под крупным заглавием «Земляне на Луне».

Значит, это было 22 июля, на другой день после высадки Нейла Армстронга.

Не забыть и жутковатый случай с традиционным для диких бригад небрежением к технике безопасности. Витя спускался по трапу из дверного проёма к нам, на землю. Над ним лежал венчающий проём стальной швеллер, ещё не перекрытый рядами кир-



Виалик Полищук и Миша Казанцев

пича. И вот этот швеллер на наших глазах стал падать вниз. «Назад!» – заорали мы в три глотки. Лавр не сделал шага назад, но, слава Богу, замер на месте. И швеллер тяжело грохнулся прямо перед ним, хорошо всколыхнув трап. Лавр подошёл к нам спокойный, но мне показалось, что нижняя губа его чуть вздрагивает. «Ребята, – сказал Витя, – мне кажется, это был привет оттуда».

Однажды пригнали подростка, встреченного нами в райцентре. Точнее, его представил случайно оказавшийся тут же наш сокурсник: «Знакомьтесь, Петя!». Этой замечательной фразой уже в стенах общежития его долго третировал один из наших – Миша Казанцев. Дело в том, что ночевать Пете якобы было негде. Взяли его в свой вагончик. Рано утром он исчез, прихватив мои вполне приличные польские туфли и совсем уж новые добротные брюки Михаила.

Наш бригадир связался в селе с женой милиционера, который был где-то в отъезде, но внезапно появился. Фёдор едва успел унести ноги. Без умелого руководства работы мы завершили кое-как, получили жалкие рубли, но месяц этот прошёл весело, мы не убивались до изнеможения, хватало сил и времени говорить и спорить, ходить на Обь плавать и греться на песчаном берегу.

В следующем году я работал уже ближе к городу в школе на Басандайке, чудесном месте – сосны, неподалёку обрыв над Томью. В свободное время при-

езжал в родное общежитие. Там, кажется, Витя Лаврищев и познакомил меня с Андреем Винарским. В год столетия Ленина, 1970-й, появилась масса юбилейных анекдотов, один из которых подчёркнуто бесстрастно и рассказывал Андрей: «В день рождения Ильича подведены итоги проектов памятника Пушкину. Третья премия – Ленин с томиком Пушкина. Вторая – Пушкин с томиком Ленина. Первая – просто Ленин».

Об этом молодом человеке хочу рассказать подробнее.

Андрей переехал из Новосибирска, на нём лежала та самая академгородковская печать снобизма и пижонства, которую потом я узнавал в ребятах из сибирского мегаполиса. Вот и наш первый разговор как-то не клеился. Меня довольно скоро утомили этот ироничный тон, нарочитость вкупе с некоторой снисходительностью, обращённой на собеседника. Я думал, как бы нам скорее разбежаться. Витя это видел и заметно волновался. «Ты вроде стихи пишешь? – спросил Андрей. – Можно что-нибудь?». Я уклонился. Тогда он попросил прочесть любимые строки. Я воспроизвёл «В том краю, где жёлтая крапива», ещё что-то есенинское. «Мне ближе Блок», – сказал Андрей. И начал читать Блока спокойным глуховатым голосом, так убедительно, как читают стихи действительно близкие, те, которые легли на душу. И отчуждение моё стало таять, мы разговорились, пошли втроем по городу, шутили, дурачились.

Вскоре наши встречи стали частыми. И некоторое время мы тесно втроем общались.

Бродили по городу. Отголоски наших походов в сторону площади Южной, то есть на окраину города, в берёзовый лес, звучат в моём стихотворении «Молодость.1972»: «Пережили морозы, бураны И шагаем к лесополосе Мимо белых заборов и кранов По оттаявшему шоссе...». Мне не показалось, чтобы природа так уж радовала Андрея. Скорее он был последовательный урбанист.

Андрей был продвинут в самых разных областях знания. Потому и мог позволить себе некоторое высокомерие, впрочем, необидное. Я был рядом с ним аборигеном Австралии. Но я слушал, впитывал, набирался. И он, надо сказать, с удовольствием выполнял роль миссионера. Для меня неведомой страной была классическая музыка, несмотря на то, что в годы детства из радиоприёмников нескончаемо лились Чайковский и Глинка. Но Андрей научил меня слушать эту музыку, дал азы музыкальной грамоты. Он подарил мне тогда «Справочник музыканта» и пластинку польского производства с Пятой симфонией Бетховена.

Мы слушали музыку в его доме (Андрей поселился в районе Дворца спорта). Попасть туда из общежития, где не хватало порой именно домашнего уюта, было здорово. Мы пили чай, бывало, спускались в магазин «Ёлочка» за портвейном и закуской, потом рассаживались на диване у проигрывателя. У Андрея я узнал и полюбил Бартока и Хиндемита.

Помню потрясение (это и вправду так, не взыщи-

те) от Кшиштофа Пендерецкого. Это были «Страсти по Луке», где отзывались православные и грегорианские каноны, где из тишины прорастали вдруг фразы, произнесённые торжественной латынью, и сдавленные крики, и громкий шёпот. Куда, в какие пространства без границ уносился мой дух в свободном своём полёте? Холодом охватывало виски, замирало дыхание.

Андрей рассказывал об атональной музыке, о Шёнберге, цитировал «Доктора Фаустуса» Томаса Манна.

На рубеже лета, когда устанавливался понтонный мост через Томь, я уезжал на выходные домой. Как-то Андрей дал мне с собой пластинку Белы Бартока. После домашних разговоров я долго сидел в сумерках на крыльце. Уже ночью, в своей комнате, погасив свет, поставил диск на проигрыватель. Среди прочего там была фортепьянная пьеса «Музыка ночи» – фантастическое совпадение с тем, что я только что переживал, слушая засыпающий мир.

Однажды поутру мы зашли в магазин «Искра», который хоть через день, но профилактически навещали. И вдруг у Андрея загорелись глаза. Он взгляда не мог оторвать от полки и уже плотоядно щурился. У него это здорово получалось, ни на кого не похоже. «Крюко-о-ов! – протянул он. – Гляди-ка сюда!». Имя Жана Ануя ничего не говорило мне в ту пору. Однако я, не колеблясь, вслед за Андреем, тотчас купил двухтомник. (И никогда о том не пожалел). Намеревались порадовать кого-нибудь из своих, но де-

нег не было. Потому, придя в общежитие, тихонько оповестили близких ребят. Информация пошла по цепочке, после обеда из похода в магазин припоздавшие филологи и историки уже возвращались ни с чем.

Вдруг – именно вдруг! – решили мы изучать польский язык. Почему именно польский, было понятно. Поляки играли джаз, у них были «Червоны гитары», их журналы проникали в СССР, там позволялось давать больше информации, хотя бы культурной – они признавали авангард, они писали о западной музыке и т.д. Андрей отыскал самоучитель с пластинками. Дело пошло, но усидчивости не хватило. Кому-то из девушек-филологов мы проговорились, они дали нам перевести современную новеллу. Это была история Леды, перенесённая в наше время. Я перевёл со словарём. Вот на том где-то всё и кончилось. А в сфере интересов Андрея появилась социалингвистика и ещё что-то, не доступное моему пониманию.

Наверное, это был самый образованный человек нашего поколения томских гуманитариев. Однако он никак не напоминал кабинетного затворника. Участвуя в общежитьевских пирушках, постоянно лез в споры. И, как правило, выигрывал. Но бывали и проколы.

Однажды, в каком-то филологическом разговоре Андрей говорит: помните в «Бесах» одного из героев – Кириллина? Я возражаю: его фамилия Кириллов. Андрей – уверенно: в том-то и дело, что она по-достоевски вычурна, вывернута. Кириллов было

бы просто. Я говорю: просто и есть. Андрей влез в спор, разгорячился, я уж и не рад был. Нет, мы должны непременно установить истину. Ну, слава Богу, жил на нашем же этаже старшекурсник, счастливый обладатель серого десятомника, пришли, заглянули в десятый том. Я оказался прав.

Как-то заспорили, чей бюст на площадке перед КГБ. Андрей говорит: чекисту Шишкову. Я сомневаюсь: есть бюст писателя Шишкова в сквере у речного вокзала. А здесь кто-то другой, может, Шишкин? Андрей кричит: пошли, убедимся! Было уже довольно поздно, но сгреблись несколько человек из общепита, пошли. Доходим до КГБ, темно, ничего не видеть, только уверенный профиль во мраке просматривается. Стали чиркать спичкой раз-другой, читает кто-то, вроде – Шишков. Я выразил недоверие, ещё посветили. Точно: Шишков. Обидно, но проиграл. Пошли за портвейном. И когда пошли, разговорились и решили, что выиграли все. Должен был бы дежурный КГБ выйти, посмотреть, что там делает группа пьяных молодых людей. А так как они в одном здании с МВД, то можно и передать этих ребят для объяснения в милицию. Но – обошлось.

Когда я слушаю народные истории типа «сидим – пьём», то с гордостью (может быть, наивной) думаю, что наши романтичнее. Там, как правило, финалы такие: «надавал я ему по морде» или «все отрубались до утра».

Правда, однажды и у нас дошло до рукоприкладства. Я тогда сторожил теплицу горзеленхоза, другими сторожами были мои товарищи, вечерами прихо-

дили гости, спорили, шумели. Там опять же ширился мой кругозор – Бердяев, Бродский, Солженицын... Вот на одной вечёрке, не знаю, по какому поводу Андрей стал требовать выйти и разобраться. Мы вышли в густые зимние сумерки. Он, не давая мне осмотреться, заехал в ухо так, что я упал. Вскочив, я набросился на него, обхватил, повалил на снег, прижал. Что дальше делать? Андрей безуспешно попытался выбраться, потом притих. Поднялись мы, отряхиваемся. Андрей говорит: «Ну, не бойцы мы, Володя, не бойцы». Вернулись продолжить спор в тепло.

Тогда уже Андрей был женат на моей юношеской влюблённости – Тане. В тот студенческий год отношения наши топтались на нейтрально-платоническом уровне. Влюблён я был вполне инфантильно, переживая так называемое любовное томление, которое так чудесно передано битлами в их «Girl». Черту я перейти робел, полагая тогда, что за этим следует качественно новый этап – создание семьи.

Женитьба, брак в юности были для меня чем-то невообразимо далёким, нереальным, невозможным. Даже устрашающим, честно сказать. Шли студенческие свадьбы, да и мои одноклассники женились, я пировал, писал стихотворные послания, приветствия, но на себя – ни-ни, упаси боже, – не примеривал. Почему это казалось мне столь чуждым? Не знаю, тогда я совершенно об этом не раздумывал. Принял как данность.

Позднее, читая письма Кафки к Фелице Бауэр, понял: да, пожалуй, мои представления о браке совпадали с его страхами. Самым мучительным было

то, что тут нельзя спрятаться, исчезнуть, сойти на нет – надо всегда быть. Отъединение в браке невозможно. Так или иначе, что-то меня тормозило. Андрей оказался определённое и практичнее. Они поженились.

На последнем курсе я увлекся черноволосой девушкой с короткой стрижкой и выразительными тёмными глазами. Многие находили в ней сходство с известной тогда итальянской актрисой, которую звали Анна Карина. Суждения ее были оригинальны, независимы, она много знала в музыке и литературе. Она обреталась во вполне интеллектуальной компании, куда входил и Андрей. Конечно, они чувствовали там себя, как рыбы в воде. Я туда соваться остерегался, боясь попасть в неловкое положение. Впрочем, иногда попадал, получал там лёгкие щелчки по носу, но терпел, запоминая имена, слушая музыку, листая альбомы. Я был так очарован ею, что позволял себе там иногда что-то говорить, лишь бы обратить на себя внимание. Андрей отметил нестандартное моё поведение и обронил с лёгкой усмешкой:

– Не надо пыжиться. Не твоего поля ягода.

Но моего оказалась, моего! Что уж она во мне нашла, но стали мы встречаться, гулять, говорить. Потом она на пятнадцать лет стала моею женой.

После окончания университета мы с Андреем виделись крайне редко. Случайно сталкивались где-нибудь в центре города. Останавливались, говорили. Андрей располнел. Та, заметная в юности вальяжность, стала нагляднее. Борода добавила ему пресло-

вутой импозантности. Но замечательные глаза оставались прежними – живыми, пытливыми, внимательными, всегда готовыми засмеяться. Он, как всегда, говорил ярко, иронично. И уже через несколько минут я видел, что сегодняшняя его барственность – это стиль, имидж, нечто внешнее. Большая внутренняя работа, которая сделала ему блестящую репутацию у филологов и философов, социологов и культурологов, творилась наедине с собой.

Теперь хочу сказать вот о чём. Я благодарен судьбе, которая взяла и вытащила меня зимой 1968-1969 года из уютного мира общежития и университетских аудиторий. Нет, меня не бросили в какой-нибудь рабочий коллектив, где я почуял бы на своей шкуре суровую школу жизни. Но я увидел, как живёт деревня, узнал простых людей – родителей моих учеников. Я ещё застал живыми деревенских стариков, совестливых и добрых, несмотря на всё пережитое (а, может быть, именно потому).

Много лет спустя, когда я пришёл (уже как газетчик) поговорить с бывалым чекистом, я совершенно всерьёз высказал благодарность КГБ (в чьём обличье и явилась судьба) за то, что вытолкнули меня «в люди». А пришёл я к нему, чтобы узнать, что он сегодня (в 1989-м) думает о той поре. Честно глядя мне в глаза, он сказал, что хорошо понимает, чего я от него жду. «Покаяния? Так вот, нет его – покаяния. Всё мы делали, не преступая закона».

И, к слову, об этом самом Комитете. После восстановления за мною присматривали. Чтобы, не дай бог, вновь не оступился. Эта роль досталась истори-

ку-сокурснику Юре Коновалову. Для Юры это было нечто вроде производственной практики. Потому что после выпуска он начал служить в штате КГБ и, что называется, дошёл «до степеней известных». Это мягко говоря. А конкретно – стал начальником всего томского ведомства и получил серьёзный чин генерала.

Итак, в 1971-м я был восстановлен в рядах советских студентов. И неожиданно, можно сказать, авансом, простёрлось на меня уважение сокурсниц и сокурсников. Стыдно было получить на экзамене ниже четвёрки. И ещё чем-то надо было поддерживать репутацию человека, отчисленного за свободный ум. Наш преподаватель Эмма Михайловна Жиликова предложила нам, филологам, отметить 150-летие со дня рождения Достоевского. Я позволил себе скептическое замечание, типа, знаем, как будет препарирован Достоевский, каким ущемлённым и односторонним получится. И вдруг Эмма Михайловна предложила мне и подготовить вечер. Пообещала всяческое содействие и поддержку. Отступать было позорно. Я взялся за это дело, как писали в старину, со всем пылом молодости. Набросал рабочий сценарий, в котором достойное место заняли «Записки из подполья» и «Бесы». Ожидал, что на этом случится у нас нестыковка, и я уйду с торжеством провидца. Не тут-то было. Сценарий был принят, началась работа. Я привлёк к ней самых разных людей, в том числе и из театральной студии ТГУ. Эмма Михайловна деятельно помогала, не выказывая никакого менторства. Потом репетиции перешли на

сцену Дома учёных. И как тут не вспомнить Ольгу Павловну Боярскую. Пожилая дама, со вкусом одетая, неизменно доброжелательная. Она отнеслась к нашей постановке с такой личной заинтересованностью, что мне хотелось сделать всё по высшему разряду. Ольга Павловна созванивалась с управлением культуры, добывая фильмы-экранизации, назначала удобное для меня время, чтобы определить с кинемехаником нужные фрагменты. При её поддержке были изготовлены стильные пригласительные билеты, которые мы не просто рассовали, а вручили чуть ли не поимённо.

Незабываемое представление! Хотя волновался я сильно, всех деталей не помню. Помню Сашу Плотникова, замечательно читающего за автора, помню Сашу Драгунова как Шатова и мрачного Валеру Шамова в роли Кириллова и его же, совсем другого в паре с Ниной Баумиллер во фрагменте из «Белых ночей». (Не эта ли встреча привела их потом к свадьбе, на которой так славно погудели?). Помню, как хорошо воспринимались благодарной аудиторией стыки кино с живыми монологами – герои вроде сходили с экрана. Вспоминаю ребят, и вдруг приходит в голову фраза Цветаевой из одного её очерка: «И все они умерли, умерли, умерли». Не все, слава Богу. Но нет уже и Саши Плотникова, и Валеры, и, понятно, Ольги Павловны.

В начале 70-х приехал в Томск кинорежиссёр Михаил Богин с фильмом «О любви». Он общался с молодёжной аудиторией, говорил даже, что присматривает типажи для новой картины. У нас как

раз женился Гена Раков. Режиссёра пригласили на свадьбу. И он пришёл. Происходило всё в столовой «Радуга», в большом зале. Народу было много. И с нашей университетской стороны и с их политехнической, потому что невеста была оттуда. Сочетание гуманитариев и технарей поначалу не обещало ничего плохого, но по мере выпивания мы почему-то не сближались. Отчуждение же нарастало. И песни Окуджавы они плохо подпевали, знали только туристов – Кукина да Визбора. И наши шутки, казалось нам, до них не доходили. Может, всё это не прорвалось бы в открытый конфликт, если бы Коле Чаусову не показалось, что одна политехница открыто предложила себя режиссёру. Не в качестве актёрки, а в другом, не требующем особого актёрского мастерства. «Ах ты, дрянь! – вскричал Коля. – Позоришь звание томской студентки!». И махач начался. До сих пор не знаю, услышал ли Коля слова девушки или придумал. Знаю точно, что он совсем не был тем ревнителем нравственности, которым возник над большим столом. Зато кулаками поработать любил. Так что, возможно, имела место провокация. Мордобой выплеснулся на улицу. В осенней ночи плохо были различимы свои и чужие. Но какой-то персонаж ткнул меня в бок, я в ответ толкнул его. Он, падая в канаву, увлек меня за собою. Тут уже прибыла милиция, какой-то из политехников стал сопротивляться, его с удовольствием затолкали в машину. Мы, помогая друг другу, выбрались на асфальт, стали отряхиваться. Один мент подошёл и ко мне и сказал удивлённо: «И ты тут!». Я узнал земляка Колю Старых, гордо подтвердил своё участие в баталии. «Ну,

иди, не дурите здесь больше». Пир и тосты продолжились. Режиссёр, правда, за время потасовки исчез.

С историками на этом, втором этапе обучения, я дружил больше, чем с филологами своего курса. И жил я в 5-8 (то есть восьмая комната на пятом этаже) в окружении историков. Алтаец Кабар уже упомянут в этой главе, он появится потом во взрослой жизни и поможет в трудной ситуации. Вася Пазинич – феерический кинофанат. Он не просто был зрителем на Московских кинофестивалях, но умудрялся общаться со многими недостижимыми для нас людьми. Как-то за кулисами Дворца зрелищ и спорта я как внештатник молодежи беседовал с Маргаритой Тереховой. И вдруг появился Пазинич, бурно приветствуя её. И она его узнала: Вася!

Валера Жданов, душа-человек, но сердце его было не в ладу с устойчивой склонностью к алкоголю. Мы жили в одной комнате один год, на последнем курсе. Не скажу о других, наш факультет был пьющим. Все (за редким исключением) не чурались этого дела, но Валера решительно выделялся и на таком фоне. Периодически возникал вопрос, дадут ли ему доучиться. В итоге вуз он закончил, написав достойный диплом. Его влиятельный заступник, научный руководитель Борис Георгиевич Могильницкий к тому же был и деканом. Он Валеру ценил, наверное, тот мог бы стать хорошим исследователем. Но всегда рядом шла его страсть к алкоголю, и это были две вещи несовместные.

Он избегал сентиментальности, трогательности. Меня он называл то нейтральным «Володя», то

«Волдырь», ну а в минуты душевного кайфа «Волоха».

Валерка умер чуть ли не первым среди сокурсников. Мне сказали об этом на улице города уже после похорон. На девять дней мы сидели с Толей Андриановым (теперь тоже покойным) на берегу Томи, пили портвейн из горла и вспоминали Валеру.

Вспоминаю несколько характерных присказок Валеры. Ну, во-первых, любимая: «Как говорил мой знакомый японский дипломат Асука Накомоди...» . И далее – о чём угодно.

Переходим улицу, я озираюсь на машины, он торопит: «Пошли, пошли. Для водителей новый указ вышел». Я, покупаясь: «Какой ещё указ?» И Валерка совершенно серьёзным голосом: «Им запрещено теперь людей давить».

Жора Шахтарин, участник хоровой капеллы университета, по-простому, капеллан. Это уж точно его заслуга, что я с давней поры стал посещать и концерты, и иногда (с позволения руководителя Виталия Сотникова) репетиции капеллы и, соответственно, стал поклонником этого коллектива. А Жора и посейчас (теперь уже как Георгий Александрович) принадлежит капелле. Под его началом – репетиционный (он же малый концертный) зал. Когда поёт капелла, чиновник становится в ряды поющих.

Помню, как после зимних каникул мы наостряли уши, чтобы не проспять возвращения Гены Гульбина с родины, из Молдавии. Он жил в соседней комнате. Приезжал обычно рано утром. И привозил канистру молодого красного вина добросовестного домашнего приготовления. Помню, как наш твор-

ческий парикмахер Дима Кинякин, приглядевшись, предложил постричь меня «под Брута», показав в «Истории Древнего Рима», как это будет выглядеть. Я согласился.

В мой выпускной год (1973) университетским литературным объединением руководил Станислав Петрович Федотов, который, по сути, учил, как надо писать, *чтобы прошло*. Он крутился в своём писательском союзе, и там, видно, для них делали «прогноз погоды». На каком-то занятии я сказал, что надо бы стремиться к солженицынской мере правды. Он посмотрел с хитрым ленинским прищуром:

– А с чего это Солженицын стал у нас мерилом правды? – и добавил: – Вот у меня есть знакомый, старый литератор Тихменёв, сидевший при Сталине, так он говорит, что Солженицын о лагере врёт. Не так всё было на самом деле.

– А как? – спросил я.

– Это не предмет сегодняшнего разговора, – ответил он. – Однако, ребята, давно сказано: не сотвори себе кумира.

Совсем скоро началась гнусная кампания против Александра Исаевича.

По причине неприятия такого руководителя бросил я ходить в объединение. И на какой-то пирушке в общежитии придумали мы СТУЛ (студенческое товарищество улучшателей литературы). Разумеется, несерьёзное. Учредительную сходку провели в доме Саши Криворотова на окраине Томска, где принимала нас его хлебосольная мама. Сочиняли буриме. Помню одну заданную строку «В Москву приехал

Помпиду», которая откликнулась у некоторых нескромной рифмой. Помню маяковистое стихотворение Вовы Коробенко, в котором и мне нашлось место:

*Свою миссию знаю я точно:
Клеймить засранцев, подлюков.
Имя моё непорочно,
Идти нам вместе, коллега Крюков!*

Ухватившись за фигуру Володи Коробенко, хочу остановить нескончаемую студенческую тему. У Володи, который после этого стишка получил кличку Коллега, я брал галстук и пиджак для участия в педагогической практике. Сам я костюмы и галстуки не носил. Практику мы проходили в школе №6, и новое общение с детьми позволило мне поверить в свои силы. Я не пробовал правдами-неправдами зацепиться в городе, получил распределение в Шегарский район Томской области, а там, в районном отделе образования, нашли мне место в средней школе села Монастырка. И тут, конечно, так и просится известная фраза «каково же было мое удивление». Не совсем так. Я помнил, что когда-то ездил на «Козле» в Монастырку. Выйдя на обрыв, я увидел внизу неправдоподобно синюю речку Шегарку, а на другом берегу то самое местечко, где я оставил мотоцикл и спустился к воде, чтобы плыть сюда.

2012

МАТЬ И СЫН

Осенью 1967-го на втором курсе историко-филологического я познакомился с занимательным персонажем. Он был неопределённого возраста. Хотя, во всяком случае, явно старше меня. Конопат и рыжеволос. И прозвище ему было Лёха Рыжий. Цвет лица слегка розоват, но становился гуще, малиновой после приёма алкоголя. В такие минуты он казался мне марсианином (не знаю, почему, у Брэбери они вроде другие). Да и голос по-своему замечательный, скажем, даже высоковатый, ломкий, но проговаривал то, что надо, уверенно и с неожиданной хрипотцой.

Этот голос сопровождал полюбившийся мне жест. Наш герой держал перед собой палец не жестом подзывающего учителя, а как бы подтягивая к себе невидимую нить. Я с интересом его наблюдал. Бывал он порой франтоват, недолго, небрежно. Помню его клетчатую рубашу с накладными карманами, джинсы. Он приходил к старшекурсникам играть в шахматы. Странное тогда было поветрие у филологов – среди них водилось немало классных игроков.

Однажды живой взгляд его светлых, несколько

навыкاته, глаз остановился и на мне. «Стишки-то тоже любишь?» – добродушно спросил он, включая меня в эту коду. Я кивнул, понимая свою ущербность. Потому что здесь, за этим шахматным столом, я услышал уже такое запредельное... Субтильный, но при его дремучей бороде не производящий впечатления слабака, Федя Госпорьян, называвший себя сыном трёх великих народов (имелись в виду армяне, евреи и русские), потягиваясь, читал густым красивым голосом:

Мой милый, что тебе я сделала?!

И сколько отчаянного женского страдания в этом было...

До моего исключения в 69-м мы только и всего, что здоровались. А вот с начала 70-х стали общаться часто и помногу. Видимо, он решил, что этот придурок заслуживает некоторого внимания. С годами его рыжий цвет всё активнее отнимала седина – теперь я знал, он постарше меня на десять лет, прямо предвоенного производства. Но прозвище осталось навсегда.

Совсем не сразу я узнал про то, что он – сын писательницы Халфиной. (Сам Алексей носил фамилию Камбалов). Пришёл час, мы познакомились с мамой. Она была известна и за пределами нашего досточтимого города. Её печатал «Огонёк», по её сценарию поставили фильм «Мачеха». Я, тогда до безумия много смотревший кино, тоже его видел. Мне понравилась милая Татьяна Доронина, и я поверил в эту историю. Потом был и не столь знаме-

нитый, но тоже собиравший зрителя фильм «Безотцовщина». Мария Леонтьевна была не похожа на тех, кого называли в нашем городе писателями. (Это было до моего знакомства с Виктором Колупаевым). Суждения её были свободны, взгляды широки. Всё это решительно отличало Халфину от тех, кого я успел увидеть и услышать на семинарах и встречах – зажатых, осторожных, косных.

То-то, пожалуй, вяло и вспоминают наши щелкоперы общение с нею, потому что это ей самой было неинтересно. О чем они могли бы говорить? О современной жизни? Но они хорошо держали ушки на макушке и поворачивали их по ветру. О «секретах творчества»? Но у неё за спиной была литература с бесконечных стеллажей её поселковой библиотеки. О школе жизни? Так сколько историй поведали ей простые сельские жители, сколько семейных драм пересказали! А у этих семинары да наставления советских мастеров. Не напрасно ведь так сразу, со своим голосом, с вечными темами шагнула она на страницы изданий в те годы, когда ещё не нужно было подстраиваться, пресмыкаться, «делать, как надо».

Интересно: она ведь не собиралась становиться писателем. Она была хорошим библиотекарем. Были какие-то наброски, наметки, у кого их нет? А потом сочинилась драматическая жизненная история, и самая читаемая газета страны «Комсомольская правда» её напечатала. Мария Леонтьевна нашла болевую точку. Об этом сказали тысячи писем. Отступить теперь было некуда. И она продолжила. В том году, когда я поступил в старейший университет Сибири (1966), она написала одну из лучших своих повестей,

во всяком случае, самую известную – «Мачеха». Где-то через год в университетском общежитии я увидел её сына.

Непогожим осенним утром (конец 70-х) Лёха отловил меня возле знаменитого томского места сборов людей, скажем так, свободных профессий, ну, если хотите, полубогемных, – кафе-магазина «Белочка». Уже несло мелкую снежную крупу, и, скрываясь от неласкового ветра, мы закрыли за собой дверь. «Возьми кофе. Двойной», – предложил Лёха. Это был его обычный стиль. Пока девушка готовила кофе, мы немного отдышались. Но только взяли свои стаканы и пристроились у окна, за которым было вдвойне уютно, потому что снег пошёл гуще, Лёха сразу упёр в меня светлые свои, почти бесцветные глаза и сказал голосом, в котором уже зажигалась энергия: «Слушай».



Лёха Камбалов и Володя Ширяев.

Сделал глоток, отставил стакан и начал, помогая себе полусогнутой в кисти рукой:

*Час зачатъя я помню неточно –
значит, память моя односторонняя.
Но зачат я был ночью пороочно,
и явился на свет не до срока.*

Голос его креп, он не то чтобы набирал пресловутые децибелы. Он наполнялся этакой силой, сокровенной правдой. А как, помню, с наслаждением проговорил он пассаж, поразивший его словарным исполнением:

*Они воткнутся в лёгкие
от никотина чёрные
по рукоятки лёгкие
трёхцветные, наборные!*

И как весело прозревал подросток от наивной, но впервые открываемой жизненной философии:

*...коридоры кончаются стенкой,
а тоннели выводят на свет.*

Учителем школы зоны строгого режима, куда заходила меня судьба, я на занятиях литературы вспоминал Лёхины уроки и старался читать стихи с такой же самоотдачей, выдавать всё, что они могут дать.

Вижу перед собой Лёху с листочками, фрагментами «В ожидании Годо» Беккета. Тут, боюсь, слова мои будут недостаточны. Тут нужен актёр в поддержку: уместные придыхания, паузы, которые растут, безумно увеличиваются, наконец, нужны мёртвые останавливающиеся глаза. Кто помнит абсурд сцены: два героя Владимир и Эстрагон всё уговариваются тронуться в путь и никак не идут.

Эстрагон: Ну что, Владимир, пошли? Владимир:

Идём. Ремарка (не двигаются). Диалог повторяется с маленькими вариациями. Типа: Однако, пора. Пожалуй, пора. И лишь ремарка неизменна (не двигаются). Слова героев Лёха произносил достаточно обыденно. А вот «не двигаются» сначала звучало нейтрально, потом напряжённо, потом зловещим и громким шёпотом: «НЕ ДВИГАЮТСЯ». Становилось вправду жутко.

Нет, не скажу, что я готовил себя к тому, что услышу что-то необыкновенное. Всё это творилось, что называется, здесь и сейчас. Спонтанно. Может, найду одно подыгрывающее Лёхе обстоятельство: я был молод, нервен, неуравновешен. Сейчас вдруг вспомнилось, что подобное ощущение физической жути я пережил в доме Андрея Винарского, слушая с вертушки «Страсти Христовы» Пендерецкого.

Вернёмся к матери. Марии Леонтьевне не надо было ловчить и морочить головы таким юнцам, как я. О Солженицыне говорила свободно, не именуя великим, но называя большим писателем. Кроме прочитанного мною «Одного дня», дала «Захара-калиту» в «Новом мире». В том же ряду были Можаяев, Белов, Распутин.

Я прочёл ей несколько стихов, она отнеслась к ним сдержанно, объяснила, что не берётся судить о рифмованных делах, и слава богу, потому что это было беспомощно и подражательно. Но когда я принёс ей рассказ о бабушке, она разобрала его подробно и довольно безжалостно, делая точные замечания. Советы давала конкретные: вместо описаний лучше

дать картинку, разговор. Как помню, ей понравилась одна деталь. Я и сам думаю: это единственное, что получилось. Герой прилетает на родину, в северное село, после долгого отсутствия. Выбирается после болтанки из самолета, топает по лётному полю, и тут у дверей аэропорта видит ЗНАКОМОЕ ЛИЦО. Не узнаёт кого-то определённо, а именно что-то родное, знакомое, из былых лет. И говорит «здравствуйте», и эта пожилая женщина здоровается в ответ. Дальше – торжество безвкусицы: он произносит мысленное «спасибо» родине за этот подарок – знакомое лицо – и ещё какие-то сопли. Мария Леонтьевна сумела так сказать о всех провалах моего рассказика, что это меня не размазало, но заставило понять, как много я не знаю и не умею. Она спросила, кого из современных рассказчиков я люблю. Я назвал Казакова и Нагибина. Она кивнула, никак не оценивая мои вкусы, и добавила, что сама высоко ценит Сергея Антонова. Может, был назван кто-то ещё. Да, конечно. У неё услышал я имя Виктора Лихоносова и полюбил, присоединив к самостоятельно открытому Юрию Казакову.

Между прочим, для многих так называемых творческих работников была дилемма: как признавать мать и не замечать сына. Хотя, как известно, сын за отца не отвечает. Вероятно, за мать тоже. Меня это не трогало. Потому я дружил с обоими. Марии Леонтьевне даже показалось, что я окажу на Лёху положительное, оздоравливающее влияние... Как-то при встрече она попросила Алексея сходить за булками к чаю и в отсутствие сына заговорила о его чрез-

мерном пристрастии к вину. Сказала, что моя молодость, скромность позволяет ей надеяться, что я буду неким сдерживающим фактором. Надеялась безосновательно. Я не испытывал отвращения к этому продукту. За бутылкой я чувствовал себя с Алексеем свободнее, моя необразованность не казалась мне такой ужасной. Кстати, сам он никогда не позволил себе высокомерия или снисходительной фразы. Может быть, в этом было нечто их родовое.

Лёха был совершенно *беспонтовым* диссидентом: стихийный законченный антисоветчик. Ему не надо было ни с кем бороться. Он жил, как будто не замечая этой сраной идеологии, всей лжи государства. Конечно, ему недоставало свободы. Той же свободы информации. И на этой почве тоже происходило наше сближение. Лёха был информирован гораздо лучше. Мария Леонтьевна брала в обкоме КПСС полузакрытый бюллетень под названием «Глобус». Там были статьи наших политических тяжеловесов, перепечатки-переводы из коммунистической европейской прессы. (Кстати, и после смерти Марии Леонтьевны мой сокурсник, обкомовский лектор Яша Дюканов продолжал подпитывать Лёху этим журнальчиком). Помню там один замечательный материал. Он назывался «Продавшийся и Простак». Продавшимся был Солженицын, Простак — Сахаров. Если первая часть была напечатана на двух полосах «Литературки», то вторая осталась только здесь — видимо, учёного ещё надеялись образумить.

Ирония жизни и творчества заключалась в том, что автор семейных повестей и рассказов, к сожалению, не могла вполне опираться на свой жиз-

ненный опыт. Там были тёмные места. Но, как мне казалось, понимание между матерью и сыном существует. Я слышал, как Лёха беседовал с ней о её трудах. С подлинным уважением. Свидетельствую, что это были не только уступки при общении с нею. И в наших разговорах он просто говорил: «Матушка пишет хорошо, потому что не врёт. И жизнь знает». Я вполне соглашался. Он мне как-то подсказал: «Так скажи ей об этом». Я сделал это искренне, волнуясь, косноязыча. Наверное, это было лучше выверенных похвальных слов.

Мария Леонтьевна называла себя писателем для семейного чтения. Потому, прежде чем надписать мне новую книгу, спросила имя жены. К следующей книге она не переспрашивала (а я уже тогда запоминал имена-фамилии с третьего раза).



Да, не сложились их отношения с мамой. И она, и он это переживали. Она даже написала об этом рассказ «Игорь», правда, слабый, который едва ли может кому-то что-то подсказать или чему-то научить.

Она ценила в нём ум, память и эрудицию. Но сделать его нормальным членом общества было ей не под силу. Лёха не получил высшего образования, что было понятно. Представляю, как выворачивало бы его на лекциях обществоведов. Зато, не будучи скованным боязнью за карьеру, он с удовольствием

просвещал нас, рассказывая о современной западной философии, сыпал цитатами из Хайдеггера и Ясперса, Сартра и Камю.

Поразительная память была у Лёхи. Как-то летом у нас во дворе после изрядного портвейна, который истощает мои и без того малые мнемонические данные, вдруг нашёл на него раж читать не кого-нибудь, а Есенина. Неисчислимыми косяками. И получалось это так задушевно, так убедительно при тёплом наклонном закатном свете, что мы расчувствовались и готовы были слушать бесконечно. К тому же четвёртым кроме нас с женою да забывшего об экзистенциализме Лёхи был Саша Фортес, который стал напевать что-то уж совсем проникновенное вроде «Руки милой – пара лебедей» или «Я по первому снегу бреду». В общем, прощались мы так, что чуть не перемазывали друг друга тёплой душевной карамелью. Но и тут не обошлось без привычной Лёхиной подлянки. Он при случае тащил всё, что ему надо было и не испытывал болей совести. Убирая в дом тарелки да вилки, мы не обнаружили ножа. Нож был не прост – его подарил мне один зэк прямо из зоны. С зэком мы были близки, говорили об античной мифологии, о неэтичной привычке ловить сидящих на подставах. Назавтра я спокойно взял Лёху на арапа: «Сидели-то хорошо, но зачем нож увёл?». Он раскололся тут же, как-то вполне спокойно: «Так уж сумерки были. Сам знаешь, в каком я районе живу». Жил он и правда в ту пору в блатном раю, на так называемой Степановке, да ещё на её окраине. «Ну так принеси», – сказал я замирительно. «Нету, – ответил Леха, разведя руками, – вечером же и пропал. Так

что он и не помог бы». Получается, оставалось его только пожалеть.

Характерный эпизод рассказал Валера Сердюк.

Пришли они на день рождения к Вадиму Гурьеву (историк, курса на два старше меня, затем преподаватель). Попили, попели, пошутили. Стали гости расходиться. Вадим вышел провожать в коридор. А Лёха, проходя мимо книжных полок, взял какую-то книгу и сунул за пазуху. Увидев Валеркино недоумение, спокойно сказал:

– Она ему не нужна.

Валера попытался возразить, но Лёха, опережая, успокоил:

– Ну ладно. Если мне не понравится, верну.

Однажды осенью Лёха пришёл со старым бывалым рюкзаком, свалил его у порога. После чая, бесед и его привычного монолога о Ясперсе (или Хайдеггере) он кивнул на тот рюкзак, простодушно обратился к нам с женой: «Ну, насыпьте картошки. Поди, заготовили. Может, ещё что...». Набрали ему ведро картошки. На огороде нашем, среди сосен, при нехватке солнца, больше ничего и не росло. Лёха ничуть не обиделся на небогатый ассортимент. Взял на горбушку рюкзачок и как бродячий китайский философ отправился в ночь. Потом признался: кто-то одарил его и редькой, и репой, и свеклой. И эта символическая горстка маиса согрела нашего Ли Бо на несколько месяцев, когда задувают суровые северные ветры.

Вот всё хиханьки да хаханьки. И ведь таких историй действительно немало. Весело жилось с Лёхой. Что-то не замечал я его страданий по неудавшейся жизни. Вот, пожалуй, я подошёл к этой банальной, требующей подведения итогов теме, какого-то резюме для толоконных голов. Но ведь и правда не сложилась жизнь, не удалась, не состоялась? А как она выглядела бы состоявшейся? Может быть, с женщиной, которую присмотрела сыну сердобольная Мария Леонтьевна? Сама она тогда съехала с шумного Курского переулкa в уютный домик на Вершинина и великодушно оставила их вдвоём. Себе она придумала причину пожить на Лесной даче – пристанище (доме-интернате) одиноких стариков. Дескать, написать надо об их проблемах. Нет, не заладилась Лёхина семейная жизнь, и Марии Леонтьевне пришлось вернуться.

Последний раз вместе я видел их на юбилейном вечере Марии Леонтьевны в марте 1988-го. Проходил он в Доме творческих организаций. У меня серьёзно болел отец, идти мне не хотелось, но надо было как руководителю областного литературного объединения. Прямо в этот день заехал командированный в Томск любимый мой свояк Вова Прыгунов. Мы пошли в больницу к моему отцу, они рады были друг другу, настроение как-то улучшилось, с тем же Вовкой пошли мы на чествование Марии Леонтьевны. Там рядом с ней были моряковские подруги. Когда-то она окончила Томский библиотечный техникум. А в 1949 году по направлению областного отдела культуры приехала в этот речной посёлок Мо-

ряковка (по-другому Моряковский Затон), где стала заведующей поселковой библиотекой. Эта руководимая ею библиотека на одном республиканском конкурсе получила звание «Лучшая библиотека РСФСР». Я видел, как весело вспоминали они былые годы, да это и сохранилось на хороших фотографиях того вечера. Рядом был благостный и благообразный Лёха. Чистенький и свежий. Приятно было их видеть. Я сказал какой-то нелепый экспромт, сроду бы не вспомнил, но вот при поддержке Николая Серебренникова (а тот привел со слов Лёхи) восстанавливаю:

*80! Вот-те на,
Мария Леонтьевна!*

Мне кажется, её позабавило. К тому же находчивый Прыгунов сунул мне в руку живой цветок (не частое тогда для Томска дело), и всё получилось вполне красиво.

Мой отец умер в конце марта. Мария Леонтьевна ушла в ноябре. Лёха передал её архив и часть вещей в школу Моряковского Затона, заложив там основание музея Халфиной. Ещё существует некий фонд её имени. Кто им заправляет, чем они занимаются, мне совсем не интересно.

Состоялся бы Лёха с его любовью к Хайдеггеру? Вот доживи он до нашего времени, чем бы он порадовал учёный мир? А впрочем, он и дожил до поры, когда философа стали печатать и комментировать. И что же? Вся фишка с поздравлением Мартина Хайдеггера была смешна и уместна лишь в своё время. Тогда Лёхина телеграмма философу не ушла дальше том-

ского КГБ. Многолетний капитальный труд «Брокен против Сиона», начатый Лёхой в соавторстве с таким же чудачком, сыном сибирского писателя Михаила Кубышкина Алексеем ничем не завершился. Когда Лёха за бутылкой с восторгом читал фрагменты, я не мог это долго слушать. Приём прост: два Вершителя Судеб двигают фигуры на шахматной доске, а в мире, соответственно, творится чёрт-те что.

И всё-таки он был неординарен, любил учиться. В периоды трезвости маме удавалось определять его в Научку (Научную библиотеку университета). Я встречал его там с просветлённым лицом, с осмысленными живыми глазами. Куда хотел он приложить накопленные знания? Окончить философский? Да как бы этот свободный человек общался с марксистко-ленинской шушерой? Научные статьи? Их ждала бы та же судьба. То есть, никакая. Свой труд по сравнительной антропологии он сунул моему товарищу, профессору-этнографу Андрею Сагалаеву. Тот, добросовестно прочитав, не решился пойти поговорить о нём. Просил меня передать рукопись автору. Сказал, что это понахватанное из разных работ, замешанное на элементарной шизофрении. Я сказал Лёхе, что Андрей мало чего понял и боится дискуссии.

Имел Лёха склонность и к мемуаристике. Как-то очень давно передал он мне, не знаю зачем, несколько страниц воспоминаний, написанных его округлым разборчивым почерком. Несколько страниц... А название записок «Мёртвое время» обещает со-

чинение явно большого формата. Продолжал ли он эту тему, нет ли – кто теперь скажет.

Герои сохранившихся страниц – такие же антики, как и он сам, и ведут они знакомые с лесковской поры русские разговоры с придурью и глубокомыслием.

МЁРТВОЕ ВРЕМЯ

Самородные соображения, чужеродные суждения, сентенции и воспоминания былых десятилетий из уцелевшего бумажного хлама, подлежащего сожжению.

Сумбурная запись летом 1962 года в Болотной у Алексея Кубышкина (Октябрьская, 24) поздней ночью после 3-х, 4-х часового застолья с коньяком и стихами у отца его Михаила Павловича, незадолго до этого получившего жирный аванс из «Октября» за свою поэму «Кисельные берега».

Благодушно-счастливый М.П. протяжно вспоминал вторую половину 40-х годов и такую лагерную тему:

– Бывалые люди, Алёша, подозревали тогда и не без оснований, что на Иосифа Долгорукова напялят барму Мономаха, парчовый пёстрый халат первых Романовых, а Патриарх всея Руси Алексей, твой тёзка, помажет его подсолнечным маслом высшего качества, отсутствующим в продаже. Холопы из народной демократии торжественно принесут ему дары, а газеты и учебники серьёзно разъяснят, что это принципиально новый царь в мировой истории. После чего только осталось бы ввести наследственные партбилеты и портфели, а нарушителей партдисциплины

плины и недостаточно усердной заготовки продуктов «бить батоги нещадно».

Алексей, сидевший у печки с книгой, только тут оторвался от чтения и пояснил:

– Это из юридического языка 17-го века. Здесь предвосхитили второй закон Ньютона о том, что действие равно противодействию. В философском смысле это была путаница, ибо смешивался субъект с объектом, а в физическом смысле гениально предвосхищался второй закон Ньютона, чего ни одному из патриотов не пришло в голову, а то бы и Ньютона оттерли на второй план...

– Ну да, – сказал М.П. – С государственной точки зрения было, конечно, важнее, что страдали ни в чём не повинные батоги. Батогам ни за что доставалось: кто-нибудь пропьётся или проворуется, а страдай при этом батоги, материя, а жопе что? Отойдёт. Ну полежит мужик дня три на брюхе, а батогам материальный износ, казне ущерб.

– А что, – высунулся я, – тут налицо рудимент древнего как мир учения о гилозоизме, о том, что все вещи, камни, растения, деревья чувствуют и страдают как и мы сами.

– Бить бледной жопой батоги нещадно, – сказал Алексей. – Любой индус прослезился бы. Вообрази Деникина, отдающего приказ: «Бить шомпола нещадно!». Деникин был человеком своего времени: «Шомполовать!».

Минут через 10 мы пошли к Алексею (коньяк был давно допит и М.П. стал разбирать свою постель) и я по свежему впечатлению записал этот разговор, наверняка отрепетированный у них как эстрадная ре-

приза, в коей удалось принять участие и мне, счастливому зрителю-собутельнику...

Назавтра я заспался почти до 12-ти. Слышал сквозь дрему по радио какое-то возмущённое заявление правительства. Открываю глаза. Алексей говорит:

– Ты проспал такой фонтан политического красноречия в защиту Кубы.

– Что там ещё?

– Американцы грозят Кастро полной блокадой, а наш румяный Цезарь Никита их предупреждает, призывая мировую общественность, пока не поздно, спасти мир.

Я расхохотался.

– Ну какой он Цезарь, он выглядит как крестьянский царь из сказки. А что, Джугашвили вполне мог бы перед смертью венчать его на царство, все вздохнули бы с облегчением. Простой, народный, доступный царь.

Алексей вдруг задумался, глядя в потолок, потом вышел на середину комнаты и, вскинув правую руку, заговорил с пафосом:

– И всё-таки республика выжила. Монархия была царством блата под штампом закона. В этом, собственно, сама сущность монархии (...).

Как и положено, были в Томске андеграундные орлы Лёхиного полета. С кем-то он сходилась ближе – с теми, разумеется, кто мог хорошо и охотно с ним пить. С другими дело обстояло сложнее.

Познакомил я его со Стасом Божко, универси-

тетским недоучкой, но упорным селфмейдменом, показавшим миру, чего можно достичь самообразованием. Хорошо помню этот день. Летний день 75-го, кажется, года. По главному проспекту города шагает Стас с привычной сумкой через плечо. Бороду топорщит, глаза жмурит. Отозвал меня в сторону:

– Старик, заглядывай завтра. Архип будет.

Наконец-то. Надо зайти к Стасу на дежурство в цветочную теплицу и получить давно обещаемый «Архипелаг ГУЛаг».

Лёха просёк мое оживление, ревниво спрашивает:

– Это что за суперменище?

– С ним, – говорю, – сможешь и о Леви-Строссе покалякать.

Вскоре я их свёл. Обнаружились общие интересы. Кроме социолого-антропологических вопросов их объединяло понятное нежелание вписываться в нашу общественную систему. Аутсайдерство, говоря языком Стаса. И зарабатывали они сходным образом – калымами: летом – прокладка траншей канализации, заливка мягкой кровли на широких крышах госучреждений. Весной – сброс снега с крыш многоэтажек. Лёхе ещё несколько зим прифартило – чистил детский каток в двухстах метрах от дома на Вершинина. И несхожести были. Стас не любил выпить (это не фигура речи, а натурально). Лёха – любил. Этот пункт, по-моему, и не дал им крепче сблизиться.

С поистине китайской анонимностью он разбрасывал щедрой рукой свои парадоксы, завиральности, цитаты любимого Хайдеггера. И я не пару раз узна-

вал их потом в суждениях прибившихся к университетской науке, но с оглядкой общавшихся с ним. Вот они, говоря научным языком, «остепенились»: кто кандидат, кто доктор, ученики, дипломники, собственные дети, обскакавшие их на этом поле. И что же? Каждому – своё. Не могу я, хоть убей, жалеть потерянного для значимой жизни Лёху.

С помощью Марии Леонтьевны добрые еврейские эскулапы находили у Лёхи психические отклонения. И это облегчало его жизнь. На «психе» (нашей областной психолечебнице) его не подвергали карательным методам. Уважаемый профессор Красик приставил его систематизировать старейшую и богатейшую библиотеку, к тому же не пострадавшую от всяких партийных чисток. Лёха там до одури начитывался, какую-то работу выполнял. Но ещё и занимался вандализмом, безжалостно резал философские и медицинские журналы. Это у меня вызывало протест и моральное неприятие. Он тащил оттуда подшитое на чёрную нитку и продавал нашим осторожным научным работникам. Продавал задёшево, за красненькую. Мне перепал слегка обгорелый Шелли в переводах Бальмонта, любовно восстановленные переплётчиком «Демоны глухонемые» Волошина.

Что ещё сказать? Умножить печальный перечень его проделок? Было от него всякое. Лёха чуть не сжёг мне постель, а может, дом, ночью ткнув в матрац горящую сигарету. Лёха похитил у меня несколько довольно хороших книг. Лёха перезанимал у меня не-

мало денег по мелочам (а кто тогда был богат) без отдачи.

Но Лёха учил смотреть на жизнь открытыми глазами, не через карьерную кабинетную щель или дражную десятку. Лёха учил говорить то, что думаешь, если не каждому встречному, то уж непременно тому, кто ждал от тебя, что ты словишь. Лёха рассказал мне массу интересных историй (и даже философских на уровне моего понимания). Он приобщил меня к Швейцеру. И сделал безумно щедрый подарок – изданную для научных библиотек «Культуру и этику», добытую наверняка при поддержке мамы. А сколько он прочёл мне замечательных первоклассных стихов. И слушая мои лопотания, он чутко выуживал достойное внимания. Нет смысла сейчас вспоминать эти случаи. Поверьте, я их помню.

При жизни Лёхи я написал несколько рассказиков, где он был персонажем. Один из них «Дар Даймона» напечатала либеральная «Сибирская Газета». Свернув его до формата письма, Лёха носил рассказ в кармане своей куртки. При встречах на улицах в беседе с каким-нибудь знакомым вынимал, разговаривал, показывал. Мне это было забавно.

А вот такая уличная философия от Лёхи. Оставаясь у меня ночевать и зная, что курить нечего, он звал меня к автобусной остановке с фонариком и без труда собирал полновесные охнарики. Сама жизнь предметно воплощала здесь приоритеты: автобусы тогда ходили редко, ждать следующего закутившему не было резона.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На той самой городской окраине под названием Степановка Лёху и убили. Мне сказал об этом Коля Серебренников. Мы пошли в Университетскую рощу, к моргу. Там на площадке толкалось несколько человек от писательской организации: всё-таки умер сын писательницы. Помню своих: Витю Колупаева, Игоря Мигалкина, Сашу Кошляка, Александра Францевича Ковалевского. Мы с Колей не поехали на кладбище, помянули Лёху у него. Был осенний день, сухой и холодный. Я, может быть, и не сразу восстановил бы день смерти, но вот – с чего, поди разбери, – написалось спустя несколько дней странное стихотворение, и под ним я поставил дату, сохраняемую во всех публикациях. Так делаю и сейчас.

* * *

*Дворы тополиные,
Жаль вас покинуть.
Пусть жизнь будет длинной,
Как песня акына.*

*Простой и великой,
Смешной и печальной,
Под пух этот липкий,
Под звон величальный,*

*Под маты и плачи,
Под грозы и вьюги,
Под холод собачий,
Под шёпот подруги.*

Заметки о нашем времени

*Глаза бы глядели,
Вбирая детали,
А ветки гудели,
А птицы летали.*

*И, верно, могла бы
Судьба быть такая:
Текла и текла бы,
Не истекая.*

*5 окт. 1996
(девять дней Лёхе Рыжему)*

2010-2011

МЫ СУЩЕСТВОВАЛИ ОТДЕЛЬНО

Столичный поэтический бум порубежья 50-60-х аукнулся и в Томске. Так получилось, что центром притяжения стихотворцев стал не университет с его историко-филологическим, а Томский политехнический институт (ТПИ). Дни Поэзии ТПИ вписаны в историю. Они собирали полные аудитории, выплёскивались на открытую эстраду Лагерного сада, стихи до поздней ночи звучали в общежитиях. Гости из обеих столиц Роберт Рождественский, Виктор Соснора, Александр Кушнер читали на равных с томичами. Наезжали поэты из соседних сибирских городов. Неизменным участником Дней был колоритный новосибирец Илья Фоняков. Литобъединением ТПИ «Молодые голоса» руководил какое-то время замечательный русский лирик, тогда совсем молодой Василий Казанцев.

В университете поэтическая братва не стала искать название своему цеху – это было просто ЛИТО. Я попал на его занятия в 1966-м, вёл их преподаватель Николай Афанасьевич Антропьянский. Студенты шуточно-любя звали его Шантропьянский. Его, безусловно, любили. Уже пожилой человек с блистающей под люстрами жёлтой лысиной, он по-молодому

загорался, радостно отзывался на крепкие, яркие строки, сдерживал иронически-беспоощадную критику, которую мастера обрушивали на начинающих. А мастера тут были ещё те – каждый со своим уже сформированным голосом – физик Гриша Кружков, геолог Витя Лойша, филологи Гена Плющенко и Валера Сердюк. Хорошо помню, как я сразу прикусил язык – хватило ума. Я вообще прекратил своё стихосложение на несколько лет. За годы молчания освободился от власти и Есенина, и наших эстрадников, узнал Пастернака, Ахматову, полюбил Блока.



Станислав Федотов, Виктор Лойша, Валерий Сердюк, Геннадий Плющенко.

В начале 70-х, когда я восстановился в университете после двухгодичной отлучки, всё уже было по-другому. Объединением руководил Станислав Петрович Федотов, старый хитрован, хорошо знающий, как надо писать, чтобы прошло.

Вспоминается опус самого Федотова. Были у него строчки, как, увидев за границей берёзки, «те ребята, что только что рыскали в кущах лавок (а рты – колесом!), все заботы тряпично-туристские забывали, светлея лицом». Ударный финал:

*Сколько раз уж, и всё-таки заново
(иностранцам другим не в пример) –
осознание
заветного самого:*

«русский», «русские», «СССР».

На сходках у Антропянского читали Цветаеву и Гумилёва. Прочсть здесь, у этого охранителя, Гумилёва было бы просто самоубийственно.

Всерьёз я начал сочинять стихи в середине 70-х годов прошлого века. Сложился круг (достаточно узкий, впрочем) таких же, как я, ребят, возраста от 20 до 30 лет. Была тогда у нас установка не лезть, не просить, не заискивать. Мы пришли к этому естественным образом. Без каких-либо деклараций.

В нашем положении не было никакой позы, никому мы не противостояли. А если и противостояли официальной публике, то молча. В подвалах художников, в каморках сторожей и дворников, на кухнях нам было вполне комфортно. Тут легко было понять, чего ты стоишь. Пожалуй, в этом была самодостаточ-

ность. Но мы ощущали, простите за высокий штиль, ответственность перед словом.

Вот особенность юности: почти всё, что происходило, становилось событием для сердца и души. Сразу именно так: принималось к сердцу, запоминалось надолго, а кое-что так и навсегда. Встречи, знакомства, путешествия. Дружить с непростыми, ломкими, взрывчатыми людьми непросто, но в юности и это получалось, и всё искупали драгоценные минуты откровения. Крайности, выверты, фальшь я и тогда чувствовал. А вот сценка из недавних времён. Помню, вбежал в мой дом молодой красивый стихотворец из мединститута и, глядя как бы невидящими глазами, потребовал ручку и бумагу. Сев за стол, замахал руками, дескать, оставь меня, оставь. Я ушёл на кухню. А через какое-то время он закричал мне почти повелительно: «Чаю, завари мне покрепче чаю!». Так они играли. Для них реальность наша людская была неким тихим омутом, в котором надлежало возмутить, взбаламутить стоячую воду. Они любили *куролесить* (вот такое точное словцо).

В те, советские годы, складывалась такая ситуация. Хочешь попасть в какие-то коллективные сборники, выходящие в Москве, постарайся быть послушным, научись заглядывать в рот литературным эмиссарам из столицы. Они приезжали проводить так называемые семинары молодых авторов. Они определяли необходимый средний уровень: чтобы казалось свежо и далеко в невнятицу не уводило. Они поощрительно кивали всяким нефтекачалкам, усталым геологам, спящим в углу районного аэропорта, устало гудящим натруженным рукам. «Самородкам», кото-

рых подбадривали на семинарах, было проще. Они почти ничего не читали, их легче было вести к первым публикациям.

Но если ты не хотел изображать ученика, то логично переходил в разряд высокомерного выскочки с претензией на элитарность. И если появлялись на таком семинаре стихи, хоть как-то налитанные мировой культурой, можно было предсказать итог: пиши – пропало. Довольно скоро становилось понятно, чего там ждут и чему учат.

Я в ту пору (и до конца его жизни) дружил с Толиком Перервенко, человеком с безупречным вкусом, высокими критериями поэзии и культуры. И работали мы в одной районной газете с приснопамятным названием «Правда Ильича». Надо сказать, мы приняли участие в двух-трех семинарах, которые тогда проводились в Томске с участием московских гостей.

Они – гости и наставники из Москвы – выполняли некую миссию. Что есть провинция? Жизнь, где нет искусства. Вот мы его здесь вырастим, поддержим. Забавно, но нас пытались убедить, что для создания стихотворения вообще-то надо немного – увидеть нужное и отразить. Еще приветствовалось подражать так называемой жизни, потому-то наставники поощрительно кивали пельменям и бензопилам.

Но когда читали свои стихи Миша Орлов, Витя Петров или Толик Перервенко, приезжие хмурились, начинали ёрзать на стуле, досадуя на то, что слышат. Помню, Витя Петров прочёл:

Сезанн работает, и тяжелеет кисть...

И один из московских наставников демонстративно стал расстёгивать пуговицу воротника рубашки, дескать, слишком много культуры, трудно дышать, давит.

Нас журили за отсутствие пролетарской биографии, кирзы в нашей жизни, за якобы благополучие – не голодал, не мёрз, не скитался по детдомам. Крыли за присутствие в стихах «книжности» – не дай бог упоминаний каких-то любимых героев вроде студента Ансельма или понятий, вроде «экзистенция» – тут уж ты от родной почвы отпал, почти космополит.

А мы хотели бы оставаться наследниками мировой поэзии. Но не так, чтобы она сковывала, вязала по рукам. Я знал ребят, они и посейчас живы и что-то кропают, их строки глухо гремят как тяжёлые музейные доспехи. А ещё тягостнее видеть автора, влачащего неподъёмные, но почему-то необходимые ему вериги: пантеон греческих богов и героев, цитаты из русских религиозных философов и т.п.

Рано ушедший из жизни Миша Орлов говорил (и я с ним горячо соглашался), что модель мира изменилась и обращение к традиции тоже должно принять какую-то новую форму. Нам хотелось, чтобы традиция растворялась в сегодня, была востребована, чтобы культура была, как бы это сказать, актуальным наследством, чтобы прошлое и настоящее благотворно сосуществовали. Говорить более конкретно не имело смысла, потому что это должно было подкрепляться индивидуальным опытом.

Толик Перервенко (прозвище Старый) расточительно и бескорыстно разбрасывал замечательные свои реплики, афоризмы, каламбуры, как будто и

дела ему не было, что они сейчас прозвучат и исчезнут. Слава Богу, что-то он запоминал и записывал (или это были порой домашние заготовки), что-то записывал я. Толик ничего не декларировал. Он просто и последовательно самым образом жизни воплощал неучастие в официальном процессе, в заискивании, в тараканьих окололитературных бегах. Никого он не звал следовать за ним. Достаточно было его ироничной фразы, чтобы понять ситуацию.

Кто-то притащил к нам на службу в районную газетку книжку тогда начинающего поэта, а ныне знаменитого на всю Россию песенника. Старый полистал, повернулся ко мне с раскрытой страницей:

– Вот, учись:

*И лось о вышку буровую
Свои попробует рога.*

И прокомментировал:

– Несчастное животное, чего не сделаешь поэтической волей... Но главное – тема! И результат: книжица-то, вот она! Знает парень правила игры.

Мы, понятно, тоже знали эти правила игры, рецепты проходняка. Боль за родную природу, которую губят некие безликие враги. Гордость за страну. Вечный бой. Ветры времени. Романтика труда, освоения Севера – таёжная новь. Молодой оптимизм, активная жизненная позиция (которая на самом деле подменялась немедленной готовностью проводить в жизнь лозунги партии). Любовь, зовущая лететь к звёздам или творить добро на земле. Понятно, что никто из нас не воспользовался этими рецептами...

Толя в своём двустиишии полемически перегибал, но формулировал верно:

*Гордитесь вы эпохою,
А мне эпоха по хую.*

Было бы просто представить его зубоскалом, ёрником, который сам-то ничего не умеет. Не тут-то было! Мы знали лучшие строки Толика наизусть. Ну хотя бы эти, про Гомера:

*Брёл
из рая или ада,
Брёл по миру,
оды сея.
И вздымалась
Илиада,
И качалась
Одиссея.*

И знали мы, конечно, что эти крепкие строки, что называется, не пойдут. Толяна это ничуть не печалило. Радоваться надо, что ты не загружен, слава Богу, заботами о том, как и где проявиться и отметитья.

Мы были разными людьми, но это нас объединило, не позволило отдаться сладостному чувству изгойства, отверженности. Спокойно воспринимали мы то, что после всяких литературных семинаров стихи наши не увозились в столицу, чтобы потом аукнуться в каком-нибудь коллективном сборнике. Честно сказать, мерзкое желание опубликоваться не покинуло меня вместе с отрочеством. Оно прошло, когда я стал читать прекрасные стихи в зарубежных изданиях, самиздате и увидел, что, по меньшей мере, неприлично проситься туда, откуда изгнаны Корни-

лов и Бродский, Коржавин и Кублановский, Липкин и Горбаневская...

Я прочёл у одного писателя, что непечатание может иметь самые серьёзные, драматические последствия. Он даже привёл в подтверждение трагические судьбы некоторых молодых литераторов. Я этому не верю, опираясь на собственный опыт и опыт моих товарищей. Скорее, такое заявление оправдывает компромисс, желание вот именно «пробиваться» на страницы подцензурных изданий. Я не поверил, но мой друг и единомышленник с присущей ему мудростью заметил, что, наверное, и так бывает.

Наши ровесники, искавшие себе места в советской литературе, были из другого измерения. Они готовы были лезть если не в дверь, то в окно. Они готовы были прогнуться, как потребуется. Мне казалось невозможным поменять эстетические установки на заведомо низкие. А для них всё было просто и безболезненно. Хотя нет, порою не щадили они живота своего. В буквальном смысле. Сережа Н., язвенник, вынужден был пить в больших количествах дрянное вино с московским гостем, который намекнул, что он не последний человек в альманахе «Поэзия».

Так стали мы существовать отдельно – стихотворцы официоза и те, кто не хотел в тогдашнюю литературу «пробиваться». По разным причинам. Больше по моральным соображениям.

Двадцать с лишним лет назад опубликовал я в молодёжной газете статью про местный литературный семинар, где позволил себе в некоторых местах ироническую интонацию. Реакция, как говорят,

последовала незамедлительно. «Главный» томский поэт позвонил мне домой, гневно выговорил, а потом вскрыл «подспудные мотивы», двигавшие моим пером. «Мы примерно ровесники, – говорил поэт, – но у меня вышло шесть сборников, а у тебя – ни одного. Вот обида и зависть разыгрались». Выслушал я всё это спокойно, но грустно подумал, что эта логика, к сожалению, кого-нибудь, может быть, и убедит, будет усвоена и вполне нормальными людьми. Но ведь каждому не объяснить, что да как. И недостойно это, а может, даже унизительно.

В так называемые застойные годы наши литературные чиновники любили с пафосом говорить о том, что право печататься должно быть выстрадано. Красиво сказано, но демагогия о выстраданности была мне знакома, а потому особенно противна. Я знал, что ничего они не выстрадали, они просто поняли (кто раньше, кто позднее), как нужно писать и получили своё место на страницах литературных журналов.

Мы не слагали в стихах и прозе что-то опасное для системы. И далеки были в нашей провинции от существующего в стране самиздата. Но и правда, не позорно ли жить в предлагаемых обстоятельствах? А главное: молчать и говорить по подсказке? Принять как условия игры, что нельзя вспоминать вслух о Солженицыне, Аксёнове, Копелеве, Викторе Некрасове?

Действительность помогала укрепиться в своём выборе. Мы видели рядом тех, кто чего-то хотел добиться. Но в том, что они писали и говорили, была настолько очевидная неправда, поведение их было

так фальшиво, что становилось стыдно за этих людей. А их небрежность в обращении с языком, влекущая за собой неряшливость мысли!

Читали мы в отличие от них много, читали разное и обменивались прочитанным. И наше отшельничество спасало, помогало – меньше искушения.

И всё-таки я иногда завидовал стяжавшим внешний успех ровесникам. Иначе о чём же говорит следующий позорный факт биографии?

В самом начале 80-х один литератор из Новосибирска мастерил сборник дебютантов. Я оказался в этом городе в гостях у моего друга Андрея Сагалаева. В прогулке, подогретые портвейном, мы зашли к литератору. Он просмотрел мои листы и пообещал «представить по максимуму». Прошло, что называется, некоторое время. И я получил письмо, из которого узнал, что в каждом стихотворении кое-что есть, но при ближайшем рассмотрении буквально все они предстают незавершёнными. Как вскоре выяснилось, ближайшему рассмотрению подверглись не столько стихи, сколько личность автора. А меня тогда с группой товарищей только-только «потрясли» за любовь к потаённой литературе.

Ну, я и подумал: сберегла судьба. А то ведь взял грех на душу, захотелось-таки вылупиться.

Много лет спустя, в конце 90-х, я опять наступил на известные грабли. Проездом через столицу зашел в «Новый мир» и оставил поэту Юрию Кублановскому семь стихотворений. Хотел получить ответ тут же, но он посмотрел укоризненно: «Что, у вас в Томске все такие прятки?». Я позвонил через месяц. Мне показалось, что он рад звонку. «Пришлите

ещё». «Сколько? – спросил я. – Десяток?». «Давайте так».

Прошло ещё около месяца. Вечером я уходил с работы. Почти на пороге меня остановил телефонный звонок.

«Дружище! – вскричал уважаемый поэт. – Замечательные стихи, дружище!». О, каким неслучайным показалось мне в его устах это слово. Я заикнулся о возможной правке.

«О чём вы говорите, какая правка! – возразил он. – Вы вполне сложившийся, самостоятельный поэт». Он обещал поставить большую подборку в начале будущего года (а это был ноябрь).

Надо ли говорить, что ничего такого не произошло. Весной я зачем-то напомнил ему о себе. Он что-то там искал, листал, потом объяснил, что при повторном рассмотрении нашёл много мелких погрешностей, неточностей, привёл пару примеров, мне они показались неубедительными. Я сказал, что предполагаю причину нелитературного свойства. А какого? Мы эту тему не развернули. Распрощались.

Забавно: осенью 2003 года Кублановский оказался в нашем городе. Мой старший товарищ, прозаик, сосланный сюда мальчиком из присоединённой Эстонии, участвовал вместе с поэтом в семинаре для молодых. Он знал мою историю, как-то мы говорили о русских и москвичах – двух этносах одной страны. В.Н. возьми да и расскажи гостю про меня. Тот замечательно отреагировал: «Правда, как-то неловко. Пусть он мне позвонит». Поэтовым великодушием я не воспользовался.

Прошу поверить, что для становления своего го-

лоса, для самостояния достаточно встретить в жизни пять-шесть толковых и достойных людей. Людей, не вписанных в систему, не зависимых от конъюнктуры.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Владимир Георгиевич
БРУСЬЯН ИН
(1953–2000)

Кроме упомянутого Толика для меня много значило недолгое, к сожалению, общение с Володи Брусьяниным. Я познакомился с ним в пору, которую тогда называли гласностью. Появилась возможность издания книг за счёт автора, что многих доканало и развратило. Потому что можно было не слушать ничьих советов, не признавать никакого диктата. Такого понятия, как внутренний редактор, для многих не существовало. Но ведь и вправду стало возможно собрать самому свою книжку, сделать так, как тебе видится верным, поставить стихи, которые по нелепым иезуитским мотивам отклонялись.

Мне очень понравился первый сборник Брусьянина «Ветви грозы», технически изданный на полупрофессиональном уровне в отличие от красивых поделок, которые позволяли себе люди с деньгами. Скажу без ужимок, что и мои «Созерцанья облаков» заслу-



жили его высокую оценку, он даже написал о них интересные заметки для городской газеты. Тогда мы нередко встречались. Состояли эти встречи из приветствия, дежурного вопроса «Как дела?». А потом начиналось обчитывание друг друга стихами. Надо сказать, Володя поначалу на таких чтениях солировал, и я далеко не сразу вышел из роли слушателя. Но он помог мне сделать этот переход! Он заставил меня работать!

Помню, как я досадовал на ранние брусьянинские звонки. Он доставал меня, сонного, из своих далёких Семилужков. И это были не телефонные разговоры в обыденном понимании. Володя читал свои строки, требовал немедленной оценки, замечаний.

Всякому автору в конце концов нужны поддержка и признание. Стихи Брусьянина (или попросту Бруса) мы – ближний круг – любили и ценили высоко. А в 1999-м пришёл столичный успех – «Знамя» и «Дружба народов» напечатали большие замечательные подборки стихотворений. Вдохновлённый этим признанием, Владимир писал много и хорошо. В одиночестве шлифовал созданное, потом десантировался в город с кипой листов, заполненных стихами. Разбирая полуразбитый шрифт убогой машинки, я не скрывал белой зависти. Брус воспринимал мои восторги достаточно спокойно, он всегда знал себе цену. Понимал и свое предназначение. Он не пытался совмещать это с какими-нибудь околоинтеллигентскими занятиями. Честно отработав смену как машинист котельной, он заступал на другую, главную в своей жизни вахту.

Отдалённость Бруса от областного центра ни-

сколько не мешала ему. Для живого общения нужны были три-четыре человека, на которых он периодически обрушивался. Все живые томские литературные авторитеты для него таковыми не являлись. Участие в разных творческих семинарах уже было ни к чему. Попутчики и спутники тут лишние. Это дело единоличное.

Стиль, язык развивались будто сами по себе. Не совсем так, конечно. Он много читал, и прочитанное осваивалось как надо. «Что однажды блеснуло в чернилах, то навеки осталось в крови» (Кушнер). Поэтический дар вел его вперёд и выше. Оттого так больно ударило известие о его неожиданной смерти.

Общение с Брусом не назовёшь приятным. Крут он был в суждениях, резок в оценках, несдержан, порой безусловно несправедлив. В подпитии ирония его становилась убийственной. И не дай бог оказаться её объектом. Кстати, и возлияния он умел обратить в пользу поэзии. Убитое время грозило возмездием, и Владимир вкалывал вдвое больше. Когда он требовал прочесть что-то новенькое, и я отговаривался то непрухой, то занятостью, он припечатывал жёстко и зло: «Да ты просто лентяй!».

Он был безусловно прав, с этим не поспоришь. Я давний противник всякой маяковщины в том смысле, что надо садиться и «делать» стихи. Да и Брусьянин тоже. Он ничего не вымучивал, он просто был настроен постоянно на особую волну, и когда там возникали слабые, ещё не оформленные сигналы, помогал этому процессу, пытаясь их расслышать и полноценно воплотить. Это не пассивное ожидание

некой манны небесной, это соучастие в необъяснимой Игре слова, чувства и мысли.

Володя был и остался романтиком. И, как сегодня говорят, по жизни, и, тем более, в поэзии. Он работал в экспедиции на Тунгуске и написал об этом с нарочитой бравадой бывалого таёжника. Он ездил на родину Есенина, и потом на бумаге село Константиново предстало явно и осязаемо.

Читал он стихи, чётко проговаривая каждое слово, зная, что каждое – точно на своём месте. А я понимал, слушая, что состоялось то, о чём мечтает всякий сочинитель – Слово вело за собой творца. Он оставался романтиком и когда нагружал строки грубой, грязной материей, пробуя себя на прочность. И очистительная сила побеждала. Поистине, как в его стихотворении, «и в грязных тряпках ветра рождается весна».

...Однажды тёплой осенью мы встретились в сквере возле нашего ТЮЗа. И вот я прочёл Брусу пару последних стишков. Володе они понравились, что он засвидетельствовал одобрительным «Сволочь!» и лёгким ударом по моему колену. Потом он всерьёз задумался, вдруг спросил: «Сколько тебе сейчас?». «Полста», – ответил я. «Значит, у меня точно есть ещё четыре года без маляра», – удовлетворённо заметил Брус. Именно на столько он был меня моложе. Судьба не дала ему и этих лет.

К посмертной публикации Володи его товарищ со студенческих лет Владимир Костин написал небольшое, но глубокое вступительное слово. «Поэтическая биография Владимира Брусьянина – непрестанное восхождение в мастера, ступенька за

ступенькой. В год смерти произошла неслыханная вещь – его увидели, его напечатали в равнодушной к «не нашим» Москве. Его, принципиально далёкого от расхожих стереотипов «постпостмодернизма» поэта, не стесняющегося называть среди своих собеседников не только Есенина или Рубцова, но и «одинозные» якобы имена советских песенных лириков – Корнилова, Фатьянова. Как он читал корниловскую «Соловяху»! Как вообще глубоко чтит традицию и знал всемирную поэзию – его путь к себе безусловно определялся этим знанием и абсолютным слухом на своё и чужое. После его смерти кто-то сказал: надорвался. Ей-богу, это не пустые слова. Напряжение, в котором он жил, режим непрестанной концентрации всех сил, брошенных на поэтические штурмы, в конце концов неумолимо обессиливали этого физически сильного и нравственно отважного человека. Лучшие стихотворения Бруссынина несомненно займут своё место в истории русской поэзии».

* * *

*Дунет ветер – вскинется листва,
будто рукава весёлых пугал.
Заметает выжженный асфальт
пыльных улиц тополиным пухом...*

*Запах детства. Вешнее окно.
Голубая пыль у поворота.
Клейкий тополиный черенок...
Словно шаг в неясную природу,*

Заметки о нашем времени

*словно шёпот в нежилой глуши,
где едва оттаявшая глина –
первый пласт нетронутой души –
напиталась соком тополиным...*

*И плывут, плывут издалека
надышаться клейким летним соком
белые, как в детстве, облака,
мягко задевая стёкла окон.*

*И скользят их тени по земле,
и бегут, бегут за облаками.
И в листве шумливых тополей
юно-голубым вскипает память.*

* * *

*Вышел – и ростепель. Красное утро –
думал, трещит и морозит. А тут
захорошело, и – словно кому-то
нужен и там ждут-пождут,*

*ждут не дождутся – как школьник с урока,
шпарю, скольжу, поддевая ногой
звонкую льдышку, и блещет дорога.
Только я редко такой.*

* * *

*Когда не помнишь мёртвых – не полюбишь
живых. Не мной придумано. Народ
не станет лгать. Как горькую пилюлю,
глотая правду. Может, я урод:*

*живых жалею, мёртвых забываю.
И не хотел бы, да выходит так,
что забывать приходится. Живая –
милее даже в ссорах мне, чем та,*

*которой уже нет. И поневоле
идёт на ум: дороже и родней
мне всё-таки живая. Это колет –
не часто, но чем дальше, тем больней.*

**Макс (Максим)
Александрович
БАТУРИН
(1965–1997)**



Может, нет у меня
чувства поколения.
Я лучше понимаю
людей молодых, чем
своих сверстников.

И так случилось, что на некоторое время я оказался очень близок к молодым поэтам – они приходили на занятия объединения «Томь», которое я вёл в конце 80-х, когда перестали таскать в КГБ как читателя «антисоветчины».

В 1988-м меня пригласили литконсультантом в областную молодёжную газету. Я сделал страницу творчества молодых, и тут появилась в редакции девушка, которая заявила мне, что знакома с очень необычным человеком и сочинителем. «Хотите, познакомлю? – предложила она и, вздохнув, прибавила: – Только едва ли вы его напечатаете». Мы приехали

в микрорайон Каштак – унылое, продуваемое всеми ветрами место, где в однокомнатной квартирке с юной женой и малюткой-сыном и проживал Максим Батулин. « Можете называть Макс», – сказал он. Так с той поры и повелось. И, кстати, для всех, кто его узнал как поэта. Стихи и вправду были необычны. Отчётливые авангардные интонации. Какое-то добродушное, милое юродство. Этаким российский битник. Но и тогда, в первую встречу, мне почувствовалась за его раскованностью ранимая душа.

Я напечатал подборку Макса в летнем выпуске литературной страницы. Она попала на глаза секретарю обкома КПСС Зоркальцеву, который сидел в субботу в своём кабинете и просматривал газеты. На селе в это время шёл сенокос, и надо же было секретарю увидеть стихок Макса, в котором говорилось, что чета Петровых, мечущих стог, не уйдёт с покоса, вынесет все трудности, потому что трудятся они на себя, для своего подворья. В понедельник на планёрку, где, как обычно, разбирался номер, отмечались удачи и неудачи, пришла заведующая сектором печати этого обкома, в общем-то, мягкая женщина Александра Андреевна. Но, выполняя пожелания патрона, она держалась строго и серьёзно. Сказала знаменательные слова о том, что провинция всегда была хранительницей традиций и устоев в хорошем смысле слова. Пусть там в столицах шум и кипят витии, а наше дело не поддаваться на провокации. А вот субботняя подборка говорит о другом. Игривые, аморальные стишки с далеко не беззубой иронией, да ещё и снабжённые предисловием с утверждающим таким названием «Право на голос». Вот он

перед нами – автор предисловия, выводящий к читателю сомнительного стихотворца. Она обратила взор на меня, сказала о том, что назначение моё литературным консультантом прошло в её отсутствие (отдыхала в санатории), что на таком посту всё же должен пребывать человек с чёткой, выверенной эстетической позицией. Я понял, что моя музыка играла недолго. И вдруг коллеги-газетчики поднялись на защиту и меня, и Макса. Им, видите ли, показалась интересной такая поэзия. Им показалось возможным самим разбираться: хорошо это или плохо. Так вот Макс на волне свободы вошёл в нашу жизнь. И я, оставленный на своём месте, стал и дальше печатать Батурина и его друзей.

Эта троица – Макс Батурин, Коля Лисицын, Андрей Филимонов – устраивала не просто чтение стихов на публике, а разыгрывала представления. Назывались эти забавы хэппенингами. Вся любовь Макса к переодеванию, к игрушечным орденам, медалям, ко фракам находила тут воплощение. В хэппенингах Максовой компании строгие ревнители стиля находили недостаток вкуса, избыток выпендрёжа, плоды вседозволенности. Но за всем этим были талант, азарт, молодость! Свобода наконец-то пришла к нам. И грех было бы данной свободой не пользоваться. И эти устремления моих молодых друзей я разделял и поддерживал.

Кто он был – Макс Батурин, родившийся в 1965-м и ушедший от нас в 1997-м? Эпатёр? Пересмешник? Да, потому что этого требует та самая эстетика игры. Но игра, что печально и трагично, прорастала в жизнь.

Ну вот, например, ясно, что поэт – существо не от мира сего. Значит, побывать в психбольнице не зазорно, а напротив – почётно. Факт биографии сближает тебя с Эдгаром По, Эль Греко и Врубелем. Безумие или хотя бы его проблески – возможность иного способа общения с миром. Такое не каждому дано, да каждому оно и не нужно. Тут чуть ли не перст Божий. Однако важно не опрокинуться насосем в ту бездну. Хорошо прогуляться по её краю и заглянуть в провал. А потом извлечь из этого иного опыта стихи, прозу, живопись, музыку. Максу это удавалось. Воспалённое сознание во время таких отлучек за пределы обыденного диктовало ему странные строки с чудинкой и трещинкой, со «сдвигом по фазе». Один литератор сказал мне, что и он «так сможет». Попытался – не смог. Потому что там, в оригинале, была не имитация этакой мерцательной ритмики, это была собственно она.

Многим интересно приподнять смертный покров и заглянуть туда, куда заглядывать нельзя. Мало того, что смертельное – манит. Многим ещё не дает покоя мысль, что творцам не стоит заживаться на этом свете. Примеров творческой жизни, оборванной на взлёте, несть числа. И потому, может быть, играющему на краю не особенно страшно. Опять я об игре. Игрок тешится, куражится, смеётся «над толпой», существуя только потому, что есть она – толпа, масса. Нет, здесь всё всерьёз. Этот последний роковой шаг трудно предугадать, почти невозможно от него предостеречь. Иногда заметна растущая отчуждённость от нашего мира: человек, которого ты знал общительным, остроумным, как

будто удаляется от нас, плохо слышит, оттого переспрашивает: «Что ты сказал? Не понял?». Но бывает и по-другому. Вот он вчера смеялся, шутил, заводил тебя на какой-то спор, а назавтра ты узнаёшь леденящую кровь новость. Вот так и ушёл от нас Макс Батурин.

Он всё же получил при жизни заслуженную им долю признания. Его стихи походя цитировались в молодёжной среде. Он попал в авторитетную «Антологию русского верлибра».

В Максе причудливо сочетались раскованность, эпатаж и беззащитность, дерзость и ранимость подростка. С годами ему было всё труднее, всё дороже переживать неизбежные творческие кризисы.

* * *

*Родное яблоко червя
я съел кишечнику в подарок
несла по дождичку меня
шестёрка пьяных санитарок*

*чего-то праздновал народ
все пили спали и плясали
мне фельдшер процедил УРОД!
и брюхо распорол усами*

*какой там к дьяволу наркоз
какой в болото антисептик
новосибирский совнархоз
я видел надпись на кушетке*

*консервной банкою до дна
меня он вычистил трёхкратно
из фляги синего вина
налил в две чашки аккуратно*

*насытив дух очистив плоть
мы разошлись как в луже спички
лишь что-то в животе колоть
осталось слева по привычке.*

*Коты ушли, но прилетели мухи.
Мужья колодцев, томные столбы,
собратья добровольные сивухи,
перековались молча на дубы.*

*Вот самоотречения для науки!
Учёный, брось картофель и грибы,
и подтянув сатиновые брюки,
к Минлесбумному устремил мольбы.*

ВЫ ТОЧКИ-ТИРЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ

*Нас и без этого знают в лицо
в очередях за сорбитом и сыром
сухо в глазах а в штанах у нас сыро
на ночь смотря разболелось яйцо
а с наступленьем полярного дня
выпали волосы все до едина
лопнула лысины синяя льдина
всё не ищите на стройках меня*

ЭПИЛОГ

Возраст моих ровесников приблизился к сорока, когда пришли перестройка и гласность.

Писатели сгинувшей Страны Советов правдоподобно удивлялись, увидев нас. Им казалось: нет таких почтенного возраста сочинителей, кто задумал только сейчас с чем-то войти в литературу. Родились в 50-х, сформировались в 70-80-е, что-то насочиняли за эти годы. Почему они не видели нас в пору молодости, в пору замечательного чистого энтузиазма, широко распахнутых душ и глаз, романтического приятия мира и т.д.?

Для них мы как будто явились из какой-то сибирской снежной пустыни. Да, правда, мы были внутренними эмигрантами. И наша реакция отторжения – нормальная реакция творческого человека, лишённого права на свой голос. Но плата за это – отсутствие читателя даже на уровне небольшого города. Чуть не затонули в безвестности. А вынырнув, оказались не готовы к новой жизни. И надо учесть при этом изменение акустики в большом помещении против маленьких кухонь. Кончилось поэтическое сопротивление на том уровне, в тех ориентирах. При всём нашем «уходе от мира», затворничестве мы знали, что там – в мире – творится. С нынешней ситуацией сложнее. Пришло время Игры, пародии, пошлости, цинизма, безделушек. В век фиглярства трудно верить в силу слова. И наивно мечтать о рае в душе каждого.

Хорошие и крупные поэты сострадали мне, что в нашу глухую пору совсем глухо именно в провинции.

Пожалуй, что-то в этом есть, но не так уж трагично.

У нас была и сегодня есть среда. Не стайка, не сходка, не тусовка сбивающихся на краткое время разномастных людей, которыми движет необъяснимая страсть – числиться, состоять, присутствовать на каких-то чтениях, собраниях, быть, так сказать, причастным к какому-то окололитературному «процессу».

Нет, соратники твои должны быть людьми надёжными, честными, не играющими. Если не избранными, то выбранными, отобранными. Это люди, способные тебя выслушать, как никто, терпеливо. Понять. Высказать с полной определённой, порой беспощадностью то, что они думают. И в таком случае среда помогает тебе расти, отбрасывать ненужное, отстаивать сокровенное и, в конце концов, обеспечивает движение вперёд.

Стихи – личное дело, дело одиночек, кропотливое, незаметное. Но читатель необходим. И это только на первый взгляд парадокс: целебное одиночество и желание поделиться сокровенным. Ведь и прочитанные стихи нас трогают тогда, когда мы видим, что поэт мучается так же, как и мы, так же страдает, борется за смысл существования.

Сегодня, при девальвации слова, есть ещё одна разновидность игры в поэтов – чтение на публику. К этому мероприятию пишутся специальные стихи, в которых предусмотрена возможность подмигнуть-подморгнуть слушающим, выдержать паузу перед якобы смешной (ироничной) строкой, завершить эффектным восклицанием или, напротив, выдать последнее слово с придыханием. Публика,

фланирующая по набережной, становится аудиторией, которая как раз благосклонно внимает читке, не требуя полной гибели всерьёз. Смех, аплодисменты, переглядки с друзьями-подругами: «Какие они чудаки, эти поэты» – та самая ожидаемая реакция. Это игра к обоюдному удовольствию.

Нынешнему человеку достаточно чужды самоуглублённость и сомнения. Он даже и не подозревает, что душа его в опасности. В нынешнем человеке много самодовольства.

Телевидение принесло эмоциональное оскудение и воспитало новый тип стихослагателя. Стихи у него якобы умные, а на самом деле – скучные. Они головные. А ведь мы в принципе не ждём от стихов полезных советов на каждый день или важной информации. Это не учёные записки. Поэзия не должна терять непосредственности высказывания. Только искреннее чувство вызывает отзвук. Но просто искренности мало. Здорово, когда она выражена ярко, свежо, неповторимо. А если неповторимый голос ещё и приобщён к слаженному хору мировой лирики и обретает общее значение – о чём большем мечтать и грезить?!

МОИ ТОВАРИЩИ

*Всё остальное ждёт нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, Бог не приведи!*

Белла Ахмадулина

У каждого человека в жизни есть спутники. Даже самый нелюдимый не бывает совсем одинок. Близкие люди появляются на разных отрезках жизни. Но самые интересные, даже значимые знакомства, по-моему, приходится на юношескую пору, когда складываются собственные установки, определяются приоритеты, когда ты честно отвечаешь «да» или «нет» на вызовы судьбы. В это время ты вглядываешься во встречаемых, или, лучше сказать, встреченных людей и разделяешь их с некоторым юношеским максимализмом на своих и чужих. Своим может стать совсем не похожий на тебя человек, но такой, каким бы ты хотел видеть себя. Ну, по меньшей мере, взять у него то, чего тебе самому явно недостаёт. Недостающим могут быть душевные качества, эрудиция, чувство собственного достоинства, умение тонко шутить и воспринимать юмор.

В эти замечательные годы кажется, что при должном упорстве всё тебе будет под силу, и ты не миришься с тем, что чего-то тебе попросту не дано. Что у твоего товарища есть способности к рисованию, к освоению языков или музыкальных инструментов, а ты этим обделён. Но постепенно приходя к такому печальному прозрению, ты не страдаешь чёрной завистью, ты не «в обиде на злую судьбу». Напротив, ты гордишься своими товарищами, которые ловко управляют с карандашом и кистью, со слуха подбирают на гитаре битловские мелодии или, со слуха же, запоминают их тексты и рассказывают, о чём поют эти молодые люди. И живёт в тебе не вербализованное тёплое чувство признательности за то, что мы – в одном кругу.

Самых близких людей, дружба с которыми проверена десятилетиями, в жизни единицы. Тех, кого называл товарищами, больше. Не знаю, обо всех ли смогу рассказать, и все ли они будут интересны тем, кто решит прочитать эти заметки. Но хотя бы для истории надо сохранить пусть неполно, эскизно нарисованных героев своего времени. На смену им пришли люди совсем другого склада.

Три близких мне человека, о которых рассказано ниже, покинули этот мир десять лет назад, в 2002 году. Один за другим. Это было слишком. Как не утешай себя расхожим «Все там будем», трудно пережить, когда уходят вот так, подряд, в одночасье.

Возвращаясь с очередных похорон, я вспоминаю другое время, когда мы были молодыми, были друзьями и единомышленниками. Тогда для нас не был актуален афоризм Бродского про то, что жизнь пе-

чальна, потому что мы знаем, чем это всё кончается. Тогда казалось, что смерть – то, что бывает с другими. Начальная пора всегда чудесна, полна надежд и радости. Жизнь при всей внешней рассеянности, легковесности была содержательной, полновзвучной, одухотворённой. У нас тоже были тяжёлые дни, временами впору было послать всё к чёрту, но брызнет дождь и облепят платья стройные тела девушек, а потом проплывёт в небе окаймлённое золотом облако и – снова радость, почти счастье.

Жизнь отводит всем свои сроки. Кто-то исполняет предназначение. Кому-то Бог продлевает дни, чтобы тот наверстал упущенное. Мне вот оставлена возможность написать в меру сил о тех, кто ушёл, хотя никогда я не думал, что буду писать посмертные заметки о моих друзьях.

АНДРЕЙ В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ

Андрей Маркович

САГАЛАЕВ

(8 апреля 1953, г.Бузулук –
20 июня 2002, г.Колпашево
Томской области)

Профессор Андрей Маркович Сагалаев был в числе любимых преподавателей и научных руководителей родного университета и Томского педагогического. Его с



полным основанием можно назвать настоящим Учёным. Той, старой школы, которая предполагает широкий кругозор, всестороннюю образованность.

Я так и сказал в одном интервью с Андреем, что воспринимаю его как наследника энциклопедистов. Выходили книга за книгой. И капитальное «Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири», и повествования для всех – «Алтай в зеркале мифа», «Легенды и были таежного края», и биографическая «Г.Н. Потанин: опыт осмысления личности». Постоянные экспедиции, поездки по стране и за её рубежи. Всегда при нём были тонкий юмор, песни «Битлз» наизусть и в большом количестве. Андрей тогда парировал: «Что касается моего родства с энциклопедистами – оставим эту смутную концепцию на твоей совести».

В том интервью он назвал образцом историка Льва Николаевича Гумилёва. Он с благодарностью вспомнил своего учителя Элеонору Львовну Львову, которая учила не столько тому, как делать, сколько тому, как не делать. Это признание во многом объясняет его феномен как учёного. Он не терпел диктата, и ему повезло, что никто не пытался такое давление оказывать. Он говорил, что в исследовании и реконструкции мифологического сознания просто необходима некоторая раскованность, право автора даже на фантазию. По крайней мере, интуиции доверять надо. «Без этого невозможно, – полагал Андрей, – неинтересно, скучно».

Наверняка накануне его юбилея мы поговорили бы вновь – хорошо и подробно – на страницах какой-нибудь томской газеты. Но не случилось этого

юбилея. Андрей не дожид до своего 50-летия, ушёл почти на год раньше, в июне 2002.

И вот вместо разговора получается монолог. Или неотправленное письмо к тебе, Андрей.

Успешно завершалась моя педагогическая практика в шестой школе города Томска. Оставалось внеклассное мероприятие у старших школьников. Я решил: мы с ними слушаем хорошую рок-музыку и говорим о ней.

За стеной нашей комнаты общежития эта музыка часто звучала. Зашёл, спросил, кто гоняет «битлов». Смуглый юноша сказал: «Я». Это был ты, Андрей. Мы быстро договорились – потом твои просветительские устремления станут мне привычны. А в тот раз мы подготовили программу, где сопрягнули «Битлз» и «Червоны гитары». Тут не было никакой конъюнктуры – мы любили и тех и других. Достаточно отыскалось информации. Вечер получился на славу. По доброй традиции взяли вина, стали пить, общаться и оказалось, что у нас немало точек пересечения.

О, эта судьбоносная роль «Битлз» в жизни нашего поколения!

Как-то в старой факультетской традиции сели мы по разные стороны стола, чтобы написать 10 «своих» фильмов, или, точнее, фильмов, которые оставили след в душе. Когда завершили работу, обнаружилось значительное совпадение. Что совпадут две картины, сомнения не вызвало – «Андрей Рублёв» и «Зеркало». Далее у тебя в списке шли, конечно, и другие ленты Тарковского. Но также

общими оказались «Проверки на дорогах», «Мужчина и женщина», «Рокко и его братья», «Великолепная семёрка».

Много лет спустя ты приехал в гости зимой. И войдя в мой дом, прямо с порога заторопил меня: «Ехал с вокзала на трамвае мимо «Октября» (это кинотеатр на проспекте Кирова – В.К.), там «Андрей Рублёв», собирайся».

Тарковский был нашим любимым режиссёром. Мне нравилось, что твое внешнее сходство с ним становилось с годами очевиднее. И вам обоим шло это звучное и твёрдое имя «Андрей».

Ты рассказывал мне, как приехав из Новосибирска поступать в Томск, увидел университетскую рощу, увидел Научку и сказал себе: «Да, в этом городе я хотел бы жить и работать». В конце концов это и получилось, но много лет после окончания нашего университета и питерской аспирантуры ты жил и работал в новосибирском Академгородке.

Наше знакомство перешло вскоре в необходимость видаться, общаться, говорить.

Раз в месяц либо я наезжал к тебе, либо прикалывал ты. И если это не была зима, мы шли на сухое тимирязевское болото, жгли костёр и говорили. А у тебя в Академгородке тоже уходили в ближний лес, либо доезжали до Обского моря. Мы оба любили огонь. Костёр.

А если зима, то была музыка в твоём доме. Битлы, Хендрикс, Саймон и Гарфанкель, Боб Дилан, «Дорз», после Японии – Китаро. Сколько хорошей музыки ты подарил мне!

Несколько лет нас связывала и совместная работа. Чтобы не звучало высокопарно, тотчас расшифрую. Во время встречи в Томске и прогулки по городу ты подвёл меня к памятнику Григорию Николаевичу Потанину в университетской роще: «А что, Вова, если нам замахнуться на жизнеописание великого земляка?». Полагаю, ты уже над этим хорошо подумал. И начал мне, растерянному от такого предложения, раскрывать свой замысел. Никак я не видел себя участником этого, как говорится, проекта. Но ты был убедителен, сказал что-то лестное о стиле моих газетно-журнальных публикаций, о том, что наша книжка должна стать не научной монографией (хотя и построенной только на достоверных фактах), а живым рассказом о незаурядном человеке. Вскоре мы подали заявку в Западно-Сибирское отделение издательства «Наука» и принялись прорабатывать материалы из фондов родной Научной библиотеки университета. Безусловно, главную работу выполнил ты. Но мне было интересно копаться в архивах, было приятно, что ты отдавал мне написать зачины крупных глав, чтобы по ним выверять дальнейший стиль изложения. Наша книга имела успех и резонанс. По сути, она была первой попыткой представить Григория Николаевича как этнографа, фольклориста, политика, просветителя в одном лице, что и было заявлено в названии «Потанин: опыт осмысления личности». Я навсегда благодарен тебе за это содружество, которое помогло мне поверить в себя, продолжить краеведческие изыскания. Книгу о сподвижнике Потанина Александре Адрианове я посвятил твоей памяти.

Какие письма я получал! Мы привычно говорим, что эпистолярный жанр приказал долго жить. Но ты оставался замечательным исключением. Вот письмо из Соединённых Штатов Америки, где ты вёл семинары в университете города Урбана, штат Иллинойс.

«URBANA, ILLINOIS, USA, December 1, 1996.

Здравствуй, Вова!

Вот началась зима у нас – точно по графику. А вчера вечером ещё шёл дождь, поливал пустой город. Пустой потому, что все студенты разом отъехали на короткие каникулы по случаю «Thanks giving» – Дня Благодарения. За ним последует Рождество, потом Новый Год, а в начале декабря ещё и еврейский праздник Ханука – короче, в стране месяца на полтора воцаряется атмосфера Великой Американской Расслабухи. И вот ходят по зелёным лужайкам Санта-Клаусы, мокнут под дождём нарядные ёлки, все покупают подарки и игрушки. Наконец-то в ночь на 1 декабря выпал снег. Вот по этому случаю – «Заметки фенолога-расиста»:

Вот выпал снег.

Заметней стали негры.

Как прав был Брейгель...

Дети, однако, не выбегают на улицу и не кричат: зима! зима! Они чего-то грызут, жуют, сосут – подкрепляются, одним словом. Как будто готовятся к трудной и несытой жизни, которую вряд ли увидят. Возвращаясь с конференции (из Бостона), я часа два сидел в аэропорту Чикаго и думал: каким увидел этот город и народ этот Николай Михайлович Ядринцев?

Ведь был он тут когда-то и, может быть, даже письма получал тут от Потанина. Сейчас Чикаго уже не город – это страна. И когда самолёт идет на посадку со стороны озера Мичиган (тоже масштаб не озёрный), видишь вдруг берег с частоколом небоскрёбов и вокруг – до горизонта – дома, дома, лужайки, бассейны, дома, парки. А потом стоишь на застеклённой галерее аэропорта, а в небе – цепочка самолётов. Они садятся там каждые 40 секунд, и когда один ещё катится по полосе, очередной уже касается земли. А по другой полосе – наискосок – самолёты взлетают с такой же периодичностью. И в целом это зрелище не для наших нервов. Ведь в каждой «жестянке» сидит человек двести – смотришь, как машина налегает на землю, чуть качает крыльями и думаешь – ну, давай, давай... Короче, я, как обкуренный Микки Маус тарасился на этот конвейер и чуть не опоздал на свой самолёт. А на другой день у нас в Иллинойсе, в маленьком аэропорту столкнулись два самолёта – один садился, другой взлетал. Всех закопали.

А конференция в Бостоне была забавная. Монументальная, как съезд КПСС. Бестолковая, как научная сессия ТГУ. И шумная, как все мероприятия в USA. Происходило всё это в большом, помпезном отеле. Со швейцарами в круглых шапочках, коврами и коктейлями, цветами и туалетами с телефонами. Народу было человек 300, программа заняла чуть не 100 страниц. Увидел я публику, которую недавно именовали у нас «советологами». Теперь им работать трудней – страна открыта, наши люди свои проблемы знают не хуже и т. д. В этой толкучке, однако, весь народ легко было разделить на «ихних» и «на-

ших». Первые небрежны во всём, от одежды до манер, вторые – напротив. Наши люди несут на лице печать сов.строя. Это примерно лет 10 плюс к физическому возрасту. Так что узнавали мы друг друга безошибочно. И ещё – наши излишне суетливы, поддакивают, смотрят в глаза собеседнику. Были там редакторы-замредакторы наших «толстых» журналов. Но подлинная встреча ждала меня за дверью с буквой «М». Я спокойно ждал, когда мужчина в длинном сером свитере освободит место у настенного агрегата. Поворачивается, вижу – Битов. Я открыл рот, чтобы нехстати сказать ему «Здрасьте», но мудрый классик пробормотал дежурное «Excuse me» и протиснулся к выходу.

Конечно, братицы, я ему не пара.

Но я сменил его у писсуара.

Потом видел, как он стоял на балконе (опоясывающем вестибюль) с трубкой в руке и рассеянно кивал какой-то даме. Было это в день открытия конференции, и я решил, что на первый день впечатлений хватит. Поехал за реку, в город Кембридж, в Гарвардский университет. Это единственное место в USA, куда я мог «вернуться» – три года назад был там. И я вернулся, пообедал в той же китайской харчевне и пошёл бродить по переулкам. Вот таким раздолбайством были заполнены все 4 дня в Бостоне. Это был неожиданный «отпуск» посреди семестра. Приехав в большой город из своего «резервата», я ходил по книжным магазинам, заглядывал в музыкальные (см. наклейку на обороте), сидел вечером на берегу Атлантического (понимаешь ли) океана. Получается, что из четырёх моих любимых городов (Ленинград,

Томск, Осака, Бостон) три расположены на берегу моря, и все четыре – на берегах рек. Значит, это кому-то нужно?

Всем привет от меня. Андрей».

Незабываемы вечера, сплотившие нас на почве словесности – меня, маргинала, и двух учёных – тебя и Сашу Элерта (брата первой твоей жены, Фриды). Мы добровольно взяли на себя эту задачу – сочинение историй на одну букву, как будто не давал нам покоя известный Отец Онуфрий, Обозревающий Онежское Озеро. Мы ответственно выверяли тексты, которые отдавали известным авторам. И Джеймс Джойс у нас начинал своё повествование «День Дурака» фразой, за которую и посейчас не стыдно: «Да, дивное дело, джентльмены, дать дуба в Дублине». Или в жутике «Незнайка-некрофил», где, разумеется, авторствовал Николай Носов, нянька предупреждала невесту Настёну о непростых наклонностях Незнайки.

Все эти штучки мы напечатали в доброй памяти «Томском молодёжном экспрессе», и высшим признанием было, что читатели, пропустив какие-то номера, звонили и просили помочь. Потом пробовала повторить публикацию «Томская неделя», но после первых фрагментов редактор продолжение отменил, сказав, что уровень юмора читателю этой газеты недоступен. Он был совершенно прав.

Твой юмор был ограничен и ненавязчив. Однажды ты купил конфеты-подушечки. Вот, говоришь, память о детстве. Давай чай пить. Я попытался надкусить – крепость камня. Смотрю: у тебя аналогичная проблема. Я смущён таким оборотом. И тогда

ты говоришь задумчиво и как будто вполне серьёзно:

– Похоже, в конфетном цехе опрокинулась бетономешалка с раствором и никто этого не заметил...

А однажды я, как говорится, не понял юмора. Ты вдруг представил унижительной ситуацию, когда всякий гражданин чуть ли не обязан сажать картошку, окучивать её в зной и дождь. Я продолжил живописать страдания: а ещё надо выкопать и вывезти с поля. Я-то шутил, потому как жизнь приучила всё это воспринимать привычно. А ты говорил всерьёз, велел мне не ёрничать и закрыл тему. Закрыл в нашем разговоре, а продолжил на страницах городской газеты в статье под заголовком «Едоки картофеля». Ты вообще не был расположен к физическим разминкам. Как-то подъехал с фотоаппаратом, со своим знаменитым «Никоном». Я в это время занимался одним из любимых процессов – колол чурки. И стал объектом фотосессии. Ты ходил вокруг да около, щёлкая затвором. И осиновая прель, и густой смолистый дух так радуют душу и сердце. Мне хотелось, чтобы и ты к этому приобщился. «Нет-нет, у тебя лучше получается», – отклонил ты со всей определённости моё предложение. В ту пору – это 25 лет назад – наш общий товарищ замышлял построить дом, потому расчищал под это дело пространство. Мы корчевали всякий подрост, а то и серьёзные деревья. Ты воленс-неволенс принимал в этом участие. И, я думаю, терпел истязания плоти, зная о том, что последует за работой. А завершалось всё выпиванием с устатку настоящего на полевых травах самогона, задушевными беседами под тихие звуки трубы

Майлса Дэвиса с магнитофонной ленты.

Признавая мастерство нашего друга-фотомастера Саввича или Мозеса (в быту это Александр Морозов), ты начал и свои заигрывания с фотокамерой, перешедшие в серьёзное занятие. Старый Томск, наши тимирязевские посиделки у костра, заграничные впечатления... Главное, на всем лежал твой особый взгляд. Помню, ты прислал мне снимки из Энка, и там были кадры нашего посещения Обского моря. Там были грозно нависающие тучи, собаки, вольно бегущие по слепящей полосе прибоя.

Некоторые кусочки фотографий я взял для своей книжки «Созерцанье облаков», авторство там указано. Кстати, в этом сборнике есть посвящённый тебе «Завтрак гребцов»:

*Налей, Андрей, и горя мало!
Давай с тобою до конца
Осушим старые бокалы
И позавидуем гребцам.
Мы были б счастливы вполне,
Ожив на этом полотне.*

Стихотворение тебе нравилось, как и некоторые другие вещицы, написанные в 90-годы. А к более ранним стишкам ты относился сдержанно, что меня иногда задевало. Зато помню твою неожиданную реакцию, когда я прочёл тебе что-то из последнего и сказал про «облом» с этим в «Знамени». Ты сжал ладонь в кулак: «Ну чего им ещё надо?!». И я увидел внезапно вспыхнувшие на твоих глазах слёзы.

Ты уезжал далеко и надолго, и тогда нас связывали письма. Много их – ярких, содержательных и раскованных – хранится у меня в конвертах с разны-

ми интересными марками. В последние годы мы стали обмениваться электронками.

Вот кусочек послания из Америки: «Передала мне Ольга снимки, письмецо твоё и журнал. Всё-таки Мозес умеет снимать, а? Тут, понимаешь, всё ещё осень – и это впечатляет. Вечером 7 ноября (нынче) вышел на крылечко покурить в рубашке и джинсах. На лужайку под окном каждый вечер откуда-то приходит кролик. Стоит столбиком шагах в пяти, ближе не подпускает. Кормлю его капустой и яблоком. Днём – прямо под дождиком – тут бегали белки, что-то таскали из мусорного бака и тут же трескали. И какие-то птицы, похожи на скворцов, но с красной грудкой. Ходят по траве. И всё это в центре города, по нашим меркам, возле Дома Учёных. Машины, люди, звери. Всем есть место в этой Америке».

И ещё из другого: «Вовик, все каникулы я читал Огонёк, Иностранку, Новый мир, Континент, Аксёнова, Бродского, Алданова, Битова... Чего я хочу сказать. Разочарований больше, чем ожидалось. Вас. Палыч Аксёнов тут числится в русских классиках. Пробовал читать его по-английски. Взял книгу «Generation December» (это «Поколение Зимы», первая книга «Московской Саги»). На американском издании отзывы критиков. Один прямо говорит: « После Толстого не было в русской литературе такого лирико-эпического произведения...». И у меня сразу вопрос из зала: «За кого они нас принимают?». А вот Алданова читаю и перечитываю с удовольствием. И помню, что это ты дал однажды мне его книжки (из библиотеки «Дружбы народов»). Так странно ходить между стеллажами с русскими книга-

ми, где между западных изданий любимого (всё-таки!) Аксёнова затесалась и советская «Любовь к электричеству». Кстати, мы с Ольгой, не сговариваясь, зовём библиотеку Научкой. Порой меня оттуда (из фондов) извлекают только миганием света и звуковыми сигналами, значит – библиотека закрывается. Это вообще не библиотека – это Поэма».

Мне нравится в этом последнем оговорке «всё-таки». Многие авторы у нас были общими, и разочарование в позднем Аксёнове тоже было общим.

Обнаружил своё электронное письмо 2001 года, где поделился печальными переживаниями: «Андрюша, написать хотелось бы что-то бодрое, жизнеутверждающее. А я на днях смотрю очень хорошую телепередачу нашего Володи Сереброва памяти Харрисона и чувствую, как сначала помаленьку, а потом сильнее да сильнее болит сердце. Ну там чих-пых валерьянка, чай, разговоры. Но куда денешься от почти постоянно присутствующей мысли: уходят наши, уходят, и с ними мы по частицам».

Перечитал сегодня с тяжёлым чувством: кто знал, что совсем скоро ты уйдёшь вослед за одним из любимых битлов. Помнишь, когда мир стал открытее, решили мы черкнуть одному из бывшего квартета письмо-признание из Сибири? И без спору сошлись на том, что адресатом будет Джордж Харрисон. Почему-то казался он близким, своим, не поглощённым коммерческими делами. Впрочем, по здравому рассуждению решили, что и ему не надо этих заморочек, да и мы, небось, не юнцы-фанаты.

Страна Восходящего Солнца тоже предстала в твоих письмах в живых подробностях, точных деталях. Я думаю, как там по-прежнему цветет сакура и бродят ручные олени, и японцы, с которыми ты работал, вспоминают тебя живым. Тебя и твоего спутника по первой поездке Петра Петровича. Боже мой, и Петровича больше нет. Ты познакомил нас в Академгородке. Не раз мы потом встречались с этим замечательным человеком. Я думал увидеть его здесь при прощании с тобой. А мне говорят, что он умер ещё осенью, причём в тот день, когда тебе, Андрей, надо было лететь в Штаты. Ольга вспоминает, как ты извёлся накануне отлёта, но что можно было сделать?

Мы реже встречались последние годы, но это не мешало пониманию. Тебе я мог говорить всё, абсолютно всё. Потому что всегда знал, что ты поймешь, скажешь, что ты об этом думаешь. Но скажешь так, что принимать какое-то решение я всё равно должен сам.

По-особому высвечиваются последние дни человека. Ты появился уже довольно поздним вечером, хотя июньского света ещё хватало. Моя Ольга мягко, но определённо погасила настрой на алкоголь... И мы стали пить чай. Потом ты сел на низенькую скамеечку и протянул руки к нашему сыну. И этот дикий, который в свои полтора года настороженно держался с незнакомцами, вдруг без колебаний пошёл к тебе. И вполне обжился на коленях, и доверчиво прижался, и не сбрасывал твоей руки с русой головки, и что-то бормотали вы оба.

А годом раньше ты приезжал со своим уже взрос-

лым сыном Константином, мы дошли до близкого озера. Лето было в разгаре. Но ты как не любитель купаний сидел на берегу, подбрасывал в огонь и сухие и сырые прутьики тальника, и дым был горьковат.

О смерти мы если и говорили, то почему-то с обязательной иронично-насмешливой подкладкой. Я от тебя никогда (нет, почти никогда, но об этом умолчим) не слышал жалоб на судьбу, а на мои ты всегда отвечал в должном стиле, мягко пригасив избыточную горячую слезу.

Помню, ты приехал из Энска, чтобы почествовать меня в сорокалетие. Весёлый получился вечер. Далеко за полночь звенели две гитары – роскошь! – две гитары, Саши Пименова и Кости Лебедева.

Помню тебя и в дни большой печали в нашем доме. Едва прошёл ты в ворота, я шагнул навстречу, а ты уже не смог сдерживаться и заплакал, да ещё, как говорят, в голос. И твоя рука на моем плече вздрагивала, и я же тебя успокаивал.

Воспоминаний хватит на многие годы. Если они суждены мне.

Гавриил Державин, наверное, утомлён частым к нему обращением. Но опять и опять «река времён в своем стремление уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья...». Не дать унести и утопить – наша забота. Для того и дана нам память, благодарная память.

Я НАЗЫВАЛ ЕГО СТАРЫЙ

**Анатолий Борисович
ПЕРЕРВЕНКО**
(12 сентября 1943,
г. Новосибирск –
9 августа 2002, г. Томск)



Каждый из нас знал и знает людей одарённых, которые не находят себе места в буквальном и переносном смысле. Они занимаются не своим делом, потому что всякое дело для них — не своё. Та форма деятельности, в которой они могли бы до конца проявиться, либо ещё не возникла, либо уже умерла. Вообще набор профессий, как бы ни был он велик, никогда не исчерпает бесконечного разнообразия человеческих способностей. А талант виден в человеке и помимо результата.

Десять лет назад умер Анатолий Борисович Перервенко. Толик, Толян, Старый... Он ушёл тихо, незаметно. А ведь был, как теперь говорят, знаковой фигурой для города. Впрочем, он предсказывал такой финал. Мы встретились однажды зимой у гроба сокурсника в просторном холле актового зала университета. Много знакомых. Жали руки, кратко обменивались – кто как живёт. Нынче так уж повелось встречаться, провожая близких. Между тем у гроба вспоминали о замечательных лекциях, выступлениях на межвузовских сходках, о незавершённой доктор-

ской. Певчие в чёрных рясах троекратно зывали к милости Божьей.

Мы отошли в сторону, и Толик вдруг сказал: «Наш уход будет скромнее, будет более частным». Так с ним и получилось. Мне не довелось проводить его, я как раз уехал навестить дочь и внуку.

Многие современники-томичи помнят человека в неизменном берете (зимой он сменял его на шапку), фланирующего центральным проспектом. Этот берет придавал ему несомненное сходство с одним из кубинских революционеров, которого звали Эрнесто Че Гевара. Толик сознательно этого добивался, и легендарный Че не был его временным увлечением. Всегда он говорил горячо и с уважением о людях одержимых, избравших свой путь и оплативших этот выбор жизнью. Таким для Толика был и человек другого времени и другой среды Винсент Ван Гог.

Помню наше общежитие на проспекте Ленина, 49. Конец 60-х.

В умывальнике на четвёртом этаже я прочитал ему как откровение, найденное у Фета и поразившее меня «Сядь у моря, жди погоды». Анатолий не удивился, подхватил строку, согласился со мною, что это здорово...

Потом, месяц спустя, так же хотел я пронять его, «размазывая» Маяковского. Толик не удостоил меня полемики, он просто прочел свод (или косяк) его стихов, и моя затея предстала тщетной и нелепой. Он хорошо понимал трагедию поэта революции, но разговор об этом должен был идти на ином уровне, до которого я не дотягивал.

На вечерах в университетском литобъединении

он держался дерзко и независимо, не испытывая пиетета перед старшекурсниками, местными мэтрами. Его оценки стихов и стихотворцев были острыми и краткими. Главные споры уходили в послесловие этих встреч и заседаний. Тогда же сбивались группы единомышленников. Была и такая – Вязанцев, Перервенко, Петров. Я туда не вписывался. Однако мои попытки сближения с этим человеком в итоге увенчались некоторым успехом. Мы стали разговаривать, что-то читать друг другу.

Толик отвергал созданную кем-то и навязываемую другим иерархию в литературе, поэзии. Мне он как-то сказал, что такая установка задана даже в его фамилии, в корне которой ему слышалось «рвать, не соглашаться, прорываться к своему».

Мы окончили университет. После недолгого учительства в сельской школе я оказался в газете Томского района в одном отделе с Толяном. Тут постепенно и незаметно стал я величать его Старый, и дальше буду называть его этим привычным для меня именем.

Отдел состоял из двух человек, и я был заведующим. С Толяном непросто работалось. Услать его в глубинку бывало нелегко. Он предпочитал места поближе к городу, чтобы по-быстрому взять материал, вернуться, но уже не в редакцию, а располагать остатками дня по собственному усмотрению. Оттого мне приходилось тужовато.

Не забуду позорного факта биографии, когда я выдал нашему ответсекретарю фразу Старого об «архивных мальчишках». Он как бы связывал нас с теми ребятами из пушкинского века, которые слу-

жили в архиве абы как, проживая духовно в ином мире. И я по малодушию ляпнул нашему Геннадию Георгиевичу, что товарища с такой установкой трудно повернуть лицом к газете. Георгиевич, раздраженный постоянными срывами графика нашим отделом, обнародовал это на планерке всей редакции. Я не знал, куда деться от стыда, но Старый простил и сделал это просто, без понта.

В бытность нашу сотруddниками районки на-
клянулся неожиданный маленький калым. Знающие
о том, что мы «балуемся стишками», попросили нас
ко Дню медицинского работника сделать несколько
четверостиший для поздравлений на празднике.
Дали небольшой список с фамилиями, которые нужно
там отметить. Примерно такой: «Иван Василье-
вич Спиридонов, хирург, стаж 30 лет. Полина Ива-
новна Шаманаева, 25 лет на одном месте, медсестра.
Петр Петрович Толкачев, водитель скорой помо-
щи...». Мы с Толиком приступили к сочинительству.
Каждый взял по одному персонажу на пробу. Через
полчасика решили сверить, что там у нас получается.
У Толяна получилось такое:

*Пусть и херовый он хирург,
Схвативши парочку бидонов,
Бежит, бежит, как демиург
Иван Васильич Спиридонов.*

Я представил свою поделку:

*Врач тихо скажет: «Обищманай его».
Два раза повторять не надо.
Да, медсестрица Шаманаева
Всё понимает с полувзгляда.*

Стало ясно, что наш гипотетический калым пошёл прахом.

Какое-то серьёзное заседание в райкоме в изложении Толяна превращалось в забавную историю. Старый рассказывал:

– Явился в нужный кабинет. Смотрю, собираются крупные районные начальники. Рассаживаются. В урочное время входит первый секретарь. Осматривает внимательно всех и произносит:

– Среди нас нет сухих...

Похоже, он намекает, что все скреплены, так сказать, каким-то общим партийным мокрым делом. Но при чём здесь я? А Первый, между тем, завешает фразу:

– ...но, пожалуй, начнём без него. Надеюсь, Юрий Иванович появится с минуты на минуту.

Главного врача района, который опаздывал на заседание, звали Юрий Иванович Сухих.

В ту пору мы иногда участвовали в так называемых литературных семинарах. И спокойно воспринимали то, что после этих семинаров не наши стихи увозились в столицу, чтобы потом аукнуться в каком-нибудь коллективном сборнике. Была у нас установка не лезть, не просить. Мы не ставили себе прикладных, мелких задач. Мы не надеялись поразить мир своими стихами и рассказами, но знали одно: нужно выразить себя с возможной полнотой. И потому нас объединяла свобода.

Каждый день, встречаясь, мы говорили о прочитанном, прочувствованном, предлагали друг другу восхититься строками Верлена, Уитмена и Случевского. И не было запретных тем и неприкосновен-

ных имён. И даже пастернаковский «предмет ночных забот» мог вызвать здоровый смех.

Тема литературных наставников – особая тема. С нашими земляками-литераторами мы жили как будто в разных странах. Говорили на разных языках. В таком случае понять друг друга невозможно. Зато мы всё могли сказать друг другу «без экивоков и казуистики» (фраза Толяна). Нам было довольно своего круга. Узкого, но вполне достаточного, чтобы узнать, чего ты стоишь.

Попытки воззвать к нам, вернуть в лоно, которые предпринимались на семинарах, не могли иметь успеха. Молодые послушные ребята организованно ходили на водопой, и пели, как положено, в хоре. Их дирижёры не казались нам авторитетами, мастерами.

Старый ничего не декларировал. Но его живой пример действовал лучше всяких деклараций.

Выбор был сделан.

Нас было немного, но мы и не стремились к умножению рядов.

И всё-таки есть здесь некоторое противоречие. Мне как-то обидно, что сегодня, когда в обиход запущено столько рифмованной шелухи, читателям поэзии до сих пор неведомы такие стихи Анатолия:

*Я несчастный человек,
Я попал в дождливый век.
Что ни день – идут циклоны,
Гор обрушивая склоны.
Затопило русло рек.
Я несчастный человек.*

*Капли медленно сочатся,
Струи бешеные мчатся.
Бури бег на целый век.
Я несчастный человек.*

*Ливни хлещут над домами,
Над размытыми мостами,
Заливая мой ночлег.
Выпал мне несчастный век.*

Или вот такие:

*Лай собак строгают ночь:
Хрипы, стоны, завыванья
Отлетают в небо прочь,
Обнажая изваянья
Из собачьих страшных снов,
Из пещерной тьмы, которой
Внятен лишь язык костров
Да надежные дозоры.
Наши древние друзья
Вновь не спят средь звездной пыли.
Знают то, что знать нельзя,
Помнят то, что мы забыли.
И свободна от оков,
Чужа недруга и друга,
Лесом лающих веков
Проросла насквозь округа.
Наползает кутерьма...
Наши радости и плачи,
Наши улицы, дома –
Всё заплёл кошмар собачий.*

Что ж, заинтересованному читателю предстоит открыть большого самобытного поэта с мощной культурной традицией и склонностью к эксперименту. Стараниями вдовы Толика Валентины лучшие его вещи сегодня изданы, пусть и небольшим тиражом.

Однажды Старый позвонил мне домой. Приеду, говорит, выпивать. Я говорю, приезжай, но я буду столярничать с двумя мужиками там-то. Найти очень просто. Вместе и попируем.

Толян приехал, разыскал. Сидим в столярке, пьём. А разговор как-то не ладится. Не притираются ребята, и всё. Тут за окном прошел милиционер, и Толян, глядя ему вслед, заметил:

– Вижу спинку мента я...

Мужики были поражены. Не сразу, но когда дошло, они захлебнулись от смеха. Дальше всё пошло как надо. Я всегда вспоминаю это как пример безграничной власти слова.

В автобусе кондуктора не было, и водитель объявил: «Деньги – в кабину!». Народ передавал свои рубли и копейки, передали и мы. Толян при этом заметил: «Мы ему отдали за проезд, а он эти денежки проест». Никто не оценил каламбура. Скорее, просто не поняли. Напротив, одна старушка неприязненно и громко сказала: «Откуда же такое недоверие, молодой человек?».

Старый умел и любил работать со словом. В быту он постоянно каламбурил, только успевай за ним записывать. Что я и делал какое-то время. И сейчас не теряю надежду разыскать в своих завалах эти листки

из перекидного календаря. Кое-что, конечно, помнится и так.

Однажды Старый произнёс от лица директора совхоза:

Мне говорят: нет заботы о животноводах.

А Марья Иванна как раз греет живот на водах.

Или в преддверии советских праздников, когда нам устраивали этикие продовольственные наборы:

Когда же, наконец, местком

Нас всех побалует мяском?

Обеденный перерыв в нашей районке мы со Старым старались продлить. Для этого уходили раньше и не слишком спешили вернуться вовремя. Находили отговорки и объяснения. Был некоторый стимул придумывать новые, необычные.

Мы барражировали по главному проспекту. Заходили в кафетерий и требовали чёрный двойной. Прежде чем отойти от стойки, проверяли в стакане «эффект ложки». Так мы придумали с Толяном определять добросовестность приготовления кофе. Если ложка в стакане двойного не просматривается, значит, порядок. Если видна – можно мягко попенять. Как правило, новенькой девушке, не знающей, что зашли постоянные клиенты и ценители напитка. Обычно новенькие понимали с первого раза.

В обеденное время ухитрялись навестить и книжные магазины, благо все они – «Искра», «Академкнига», «Букинист» – находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Посетители книжных магазинов, сталкиваясь с ним у стеллажей, здоровались, не зная по имени, улыбались его шуткам.

Как-то в пути от «Букиниста» на службу (или наоборот), Толян спросил меня, прищурясь:

– А знаешь, как звали того, кто предал Джордано Бруно?

– Нет.

– Его звали Мочаниго. Здорово, а? Замочил Джордано, мочанул, можно сказать.

Венецианский дворянин Мочаниго написал донос в инквизицию и удерживал у себя Бруно до его ареста. В 1600 году Джордано Бруно был сожжен в Риме.

Думаю, его земляки не оценили бы эту лингвистическую находку, но я навсегда запомнил имя вероломного дворянина.

Все эти повседневные игры и забавы были необходимой разминкой перед серьёзной работой. И находки, сделанные в разговорах за чашкой кофе, не пропадали втуне.

К стихам Анатолия Перервенко естественно примыкают его афоризмы – яркие, глубокие, ироничные вещи. Это, по слову поэта другой эпохи, холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца.

Нет смысла в чём-то одном, есть смысл только во всем сразу.

Мы ещё полны старым, когда к нам приходит новое.

Всё пытается повториться. Всё, видите ли, желает стать традицией.

Достигнуть – значит уничтожить.

Конец века многозначительно улыбается своему началу.

Я уже давно перестал надеяться на чьё-либо содействие, только бы мне не слишком мешали.

Талант живёт талантливо, то есть несчастливо. Гений – гениально, то есть трагично.

Одно-единственное мгновение при мне важнее миллиардов веков без меня.

Словарь – алфавитный список арестованных слов.

Если ты работаешь на будущее века, в глазах современников ты бездельник.

Каждый хочет открывать. Каждый хочет быть открытым. Каждая душа – и Колумб, и Америка одновременно.

Смех над великим – вот уж поистине трагедия без катарсиса.

Они очень личные, эти мудрые записи, не сочинённые, а выстраданные. Я слышу его живой голос:

Жизнь удалась. Я так и не стал никем.

Не хочется с этим спорить. Философ Скворода завещал написать на своём могильном камне: «Мир ловил меня, но не поймал». Здесь видится мне прямая переключка.

А Толик оставил такую автоэпитафию:

Человек ушёл.

А всё, что он любил,

Осталось.

ВОЛОДЯ: ТОМСК – КЕМЕРОВО

**Владимир Михайлович
ШИРЯЕВ**

(1949, с. Романово Алтай-
ского края – 28 декабря
2002, г. Кемерово)



Более невнятного почерка я не знаю. Вспоминается банальное «как курица лапой» с тем приращением, что и вправду в этом почерке есть что-то птичье: резкие вертикальные линии согласных и такие же не округлые гласные. С трудом разбираешь слова, надеясь на интуицию и контекст. Сейчас я возвращаюсь к старым письмам, разгадывая тёмные места. Потому что новых не будет.

В 2012 году мы могли бы отметить 45-летие знакомства, которое переросло в товарищество. Но уже десять лет автор этих писем покоится на кемеровском кладбище.

«16 мая 2001 г. с. Усть-Стрелино.

Володя, ты мне почему-то не ответил на последнее моё письмо.

Как ты поживаешь?

Я – по-прежнему. Пишу, занимаюсь сельским хозяйством, выпускаю альманах «Горицвет». Очередной номер «Горицвета» я тебе непременно пришлю

(бесплатно), но только с просьбой, чтобы ты рецензию на него написал.

Кстати, рецензия Серёжи Самойленко на один из номеров «Горицвета» опубликована в февральском номере «Сибирских огней» за этот год.

С удовольствием перечитываю твою книгу. Какой ты всё-таки молодец, что запечатлел Лёшу Халфина!

Кстати, я тоже хочу сделать это в нескольких прозаических миниатюрах. Эти миниатюры составят у меня толстую книгу под названием «Ошибка Розы Люксембург» – и вот, в некоторых из них должно быть и о Лёше Халфине.

У меня одна треть этой книги уже написана. Если у тебя есть под рукой издание, где можно эти миниатюры напечатать, – я могу прислать пяток. Это – что-то вроде «Крохоток» Солженицына и «Затесей» Астафьева плюс немного юмора.

Да, кстати, ведь Виктор Астафьев состоит в том же Союзе писателей, что и ты – в Российском, а не в нашем... Я тоже думаю в ваш Союз вступить (не выходя пока из СП России). Мне соответствующие рекомендации пришлёт из Волгограда мой приятель Гена Коробков – он глава тамошней ячейки. Всего у них шесть человек. А у вас сколько? И кто глава у вас? В Кемерове придётся, наверное, стать отцом-основателем ячейки российского СП мне. Ещё два человека есть на примете.

Напиши мне свои соображения на этот счёт.

Привет Коле Тупицыну. У него есть тот номер «Горицвета», о коем опубликована рецензия в «Сибогнях». (...) Володя.

P.S. Ты бы приехал ко мне в гости. Пожил бы в

моей деревне с недельку, отдохнул бы... А? Как ты на это смотришь?».

Еще одно письмо (к сожалению, не датировано, а конверт не сохранился. Полагаю, это 2001-2002 год).

«Володя, здравствуй!

Недавно я перечитал твою книгу «Линия ветра». Как и при первом чтении из стихов больше всего понравились: «По лесной дороге крутой...», «Нить паутинная тонка...», «Дворы тополиные...» (идёт большой перечень стихов). «Этот пьяный старик» лучше закончить на 4-й строфе и ещё – долги не берут, а – берут в долг. Может, так:

*И что в долг он берёт,
Сразу забывает.*

Проза твоя мне нравится вся. Особенно – новеллы, где фигурирует Лёха Рыжий– Халфин– Камбаров. У меня ведь есть стихотворение, посвящённое ему – опубликовано в первом моём сборнике «Августовские объявления». Называется «Философ».

*Когда меня постигнет горе,
ко мне приходит старый друг.
Раскроет томик Кьеркегора,
закурит горькую махру...*

И т.д.

Володя, почему ты не отвечаешь на мои открытки и письма?

Снова спрашиваю: каким образом организовались в Томске вы, члены СРП? Я в Кемерове – единственный член этой организации, но несколько человек хотят туда вступить.

Выслал тебе номер моего журнала.

Хотел бы узнать твоё мнение о моей документальной повести, опубликованной там. Пиши! Володя».

Кажется мне, он всю жизнь тянулся к Томску, томским людям, хотел общения, если не вживую, то в каком-то деле. И, надо признать, наше общение (и в письмах, и в жизни) было неплодотворным именно по моей вине, по лени, по дурацкой вере, что впереди ещё много дней и лет. Оказалось, совсем не так. Ушёл Володя, ушёл упомянутый в письме Лёха Рыжий (сын Марии Леонтьевны Халфиной), самобытный человек, вполне достойный звания философа, которым Ширяев его наделил в стихотворении. Стоит его привести целиком.

ФИЛОСОФ

А. Камбалову

*Когда меня постигнет горе,
ко мне приходит старый друг.
Раскроет томик Кьеркегора,
закурит горькую махру.*

*И, на диване жёстком лёжа,
с надеждой спрашиваю я:
– Ответь, ведь ты философ, Лёша,
так в чем разгадка бытия?!*

*В ответ пускает кольца он.
Молчит. Лишь кашляет, простужен.
Наверно, как Лаокоон,
я буду кольцами задушен.*

Я не осмеливался перебивать Лёху, зная, какое это неблагодарное, бесполезное дело. Но Володя просто протягивал руку, настойчиво хлопал философа по плечу, повторяя: «Постой, старичок» и добивался-таки своего.

Его поэтические сборники выходили в Кемерово с завидной регулярностью. И он присылал их с тёплыми надписями и неременной просьбой откликнуться, дать оценку.

Последнюю книгу «Расскажу без прикрас...» – посмертную, выпущенную вдовой Раисой Максимовой – я купил на встрече в Кемеровской библиотеке. Большой том даёт представление о даровании Владимира Ширяева.

Володя Ширяев был одноклассником моего сокурсника Коли Тупицына, оба они кузбассовские, приехали из Белова. В общежитии на Ленина, 49, где жили историки и филологи, в Колиной комнате мы и познакомились.

Оба они тогда были во власти вычитанной у Владимира Чивилихина истории про то, что поэт Николай Клюев, возвращаясь из томской ссылки, был ограблен на станции Тайга. Главную ценность, понятно, представляли клюевские рукописи. Ребята уже опрашивали старых тайгинцев, полагая, что воры просто бросили бумаги, а кто-то заботливо подобрал. Поиски не увенчались успехом, даже никакой ниточки, за которую можно потянуть, не нашлось. Но они не отчаивались и думали продолжать. Теперь мы знаем, что Клюев был расстрелян в

Томске и даже те «рукописи на отдельных листах – 6 штук» (как записано в протоколе обыска), не найдены. Но, согласитесь, какая романтическая история и какие молодые, азартные романтики жили тогда.

Володя Ширяев вообще во многом необычный, нерядовой человек. И запомнилось мне в нём вот что: он в каждом отыскивал творческое начало, и если находил, настойчиво просил: «Старик (или старуха), тебе писать надо, у тебя способности. Давай». А если уж ты что-то сочинял, то он выуживал из тебя строчки, читал, либо слушал внимательно и давал дельные советы. Подбирая верное, точное слово в разговоре и волнуясь, он начинал слегка заикаться. И когда загорался в споре – то же самое, да еще иногда непроизвольно подёргивался глаз (правый-левый? вот тут не помню).

Ещё из внешних примет: улыбка у него была хорошая, с таким странным оттенком виноватости. А, бывало, хохотал во весь рот: это, помню, в общении, за общим столом, в большой компании.

Что сам он сочиняет, узнал я далеко не сразу, своё он читать не спешил. Мне запомнилось из первых услышанных от него стихов: «И вот сижу и грею/ я рёбра хилые свои/ о рёбра батареи».

Потом я прочёл такое:

*Как и десять дней назад,
в царственном бездельи
мрачно вороны сидят
на высоком дереве.
Закричу на весь наш сад –
взмоят без оглядки.*

*Опустились. Вновь сидят,
но в другом порядке.*

Как просто! Но попробуй – повтори. Нет, это та самая простота, которая – дар. С первого знакомства со стихами Ширяева и до сих пор я ему завидую. Не дано мне этого.

А Володя жил и писал под знаком этой простоты. Он не стеснялся улыбаться, удивляться простым вещам и видел чудесное в самой, что ни на есть, обычной жизни.

*Мы с тобой друг друга полюбили,
и теперь не спится – хоть убей.
Под окном сугробы голубые,
словно села стая голубей.*

*«Милый друг, ты наконец попался!» –
так воркуют, ласково глядят...
А когда я засвищу в два пальца,
то снега вспорхнут и улетят.*

Володино прозвище было Ширкин, кто-то (и я в том числе) звали его Ширич. В облике его было безусловное сходство с Владимиром Солоухиным: то самое славянское, русское лицо. Оба русые, губастые, басовитые и громкоголосые.

Пожалуй, не встречал я ребят с таким обострённым чувством справедливости. То есть, может, оно в нас есть, но сокрыто, живёт подспудно. А Володя проявлял его решительно, безоглядно. Часто это выражалось в готовности затеять драку (натуральную, кулаками) с любым противником, не взирая на мощь и количество бойцов. По-другому – просто оборвать отношения. Ещё по-другому – воспользо-

ваться силой печатного слова. Помню, в центральном книжном магазине «Искра» продавцы поймали подростка, пытавшегося похитить книжку, и заставили его простоять какое-то время в зале, держа табличку с надписью «Я украл книгу». Наверное, не один десяток людей видели эту картину. Но кто бросился к директору с яростной инвективой, а потом на страницах молодёжки покрыл позором методы современных инквизиторов? Конечно, Широдев.

Некоторое время Володя был влюблён в мою жену. Скрывать он этого не умел и не хотел. И не было в этом какой-то придури. Сказать честно, я привык к этим влюблённостям. Всегда это были достойные люди, и протекало их чувство вполне человечно, пристойно. Как-то раз напились с Ширкиным портвейна в городе, захотел он поехать к нам, в Тимирязево. Не очень хотелось мне являться в таком виде, но взяли еще вина, а главное, взяли ещё и молодую женщину с собою. Зашли на главпочтамт, Володя отыскал свою знакомую в глубинах конторы. Как раз заканчивался рабочий день, она согласилась проехаться. И вот мы втроём возникли в нашем доме. Моя жена что-то собрала на стол, приняла даже участие в распитии. Вова, сидя рядом с подругой, приобнимал её, что-то говорил ласковое и при этом постоянно поглядывал в сторону Наташи. Была понятная двусмысленная ситуация, созданная чисто широдевским юродством. И было в этом нечто грустное. Так мне и тогда показалось. И сейчас вспоминается именно с грустью. Уехали они, и мы с Натальей

ничего не сказали друг другу – всё было понятно, вся эта неловкая мальчишеская выходка.

А ведь я мог стать жителем Кемерово. Когда мы с женой и годовалой дочкой Ольгой (76-77 годы) малялись бездомно, перемещаясь с квартиры на квартиру, Володя сообщил, что в Кемерове с этим проще и велел немедленно приезжать. Я прибыл. Вечером мы пообщались за бутылкой, а с утра пошли по адресам. Один облом, другой. Наконец приходим в многотиражку к Юре Могутину. Вова излагает суть дела. Тот прямо взревел: «Почему не тремя днями раньше?!». Оказывается, была и ставка литсотрудника и комната в общежитии. Ходила-ходила одна девчушка, не хотел её брать, но в конце концов уступил. Ясное дело, обратной дороги нет. «Пойдёмте, хоть пивом угощу», – предложил он. Пошли мы через территорию этого комбината «Азот», сгибаясь под идущими поверху трубами. Ребята меня остерегают, смотри, мол, чтобы на тебя не капала продукция, а то и одежду испортит, и кожу. Это мне уже не понравилось. Пробрались, выпили в столовой пива, вышли на улицу. Вдруг неподалёку из заводской трубы с шумом вырвался столб дыма. Смотрю: он зелёного цвета. Я в изумлении, а им привычно. Простились с Юрой, идем дальше, в пейзаже – новые трубы. И опять: две дымят привычным чёрным, но третья – ядовито-жёлтым. И так мне нехорошо стало, и прошла вдруг досада на наши неудачи. О чём я Ширияичу сообщил, а он и согласился. Сам бы, говорит, с удовольствием жил в Томске, но вот окопался уже, да и родина, и товарищи былых лет.

И всё-таки ему хотелось, чтобы город мне понравился и запомнился. В другой раз завёл он меня к поэту Саше Ибрагимову и позвал того прогуляться, чтобы во время прогулки он показал, как в центре город Кемерово то ли раскручивается по спирали, то ли делает ещё какой-то геометрический финт. «У тебя это здорово получается», – сказал Ширяич. И Саша наглядно нам всё представил.

Володя Ширяев писал замечательные стихи, в которых органично, что ни на есть естественным образом, сочетались ирония и лирика.

*Твердила юная жена,
персты ломая:
«Тобою опустошена,
Как Русь – Мамаем!»*

*Но отвечал на это он:
«Мой друг, неправда!
Мамай ведь нами побеждён
был у Непрядвы.*

*Тогда его разбили мы.
Но, правда, вскоре
его преемник Тохтамыш
наделал горя.*

*Потом врывался Едигей –
эмир Тимура...».*
*...Так до утра долдонил ей –
печально, хмуро.*

Мне жаль, что я так и не собрался и не приехал, чтобы вместе пожить в его деревне. Он гордился, что у него есть жильё на земле. Он выращивал на этой земле свои знаменитые тыквы. Я увидел их на снимке в центральной газете. Подпись извещала, что вот так кемеровский поэт зарабатывает на жизнь и издание книг. Тыквы, которые улыбающийся мичуринец прижимал к груди, выглядели представительно.

... Помню, как-то мы перебрали в гостях у брата Коли Тупицына. Он жил на улице Источной – это если идти вниз, к Томи, с нашего главного проспекта Ленина. Коля повалился спать, а мы с Вовкой решили подняться на проспект прямо со двора, где сидели за вином. Полезли вверх в довольно крутую гору. Падали, скатывались вниз, поднимались и вновь штурмовали зелёный склон. Такой весёлой казалась наша затея, что хохотали мы беспрерывно, поддерживая и поднимая друг друга...

Развернула поутру

яблоня свой веер.

Никогда я не умру –

В этом я уверен!

Вся в сиреновом дыму,

выстрелила почка.

– Не умрёте? Почему?

– Не умру – и точка!

ВИТОЛЬД ИЗ РОДА СЛАВНИНЫХ

Витольд. В этом звучащем имени отзывались для меня литовские князья, непременно благородные, люди гордости и чести. Отца его звали Донат – тоже не слабо. И наконец дед Порфирий Порфирьевич. Однако! А если сказать, что это была редкая династия интеллигентов-сибиряков, немало повидавших и, главное, оставивших об этом свидетельства (как и велела давняя семейная традиция)...

Впрочем, лучше по порядку.



С Витольдом и моим сыном Глебом во дворе музея «Следственная тюрьма НКВД».

17 декабря 2002 года. ■

Пока ранние сумерки начала декабря не сгустились в непроглядность, я успел найти нужный мне дом. На пороге меня встретил суровый человек. Я

назвал себя. Взгляд его был строг. Вид, что называется, непреклонен. Я зажался еще пуще, хотя шёл сюда уже с готовностью получить заслуженные тумаки.

– Проходите, – сказал тем не менее хозяин.

Я прошёл, оглядывая кухню. Шкаф, буфет старой ручной работы. Стол, за который жестом предложено садиться, тоже старинный с резьбою по краям.

Пришёл я по такому поводу. Старый профессор-географ рассказал мне как-то интересную историю, как на монастырском заброшенном кладбище была обнаружена могила Григория Николаевича Потанина. Там оставались лишь безымянные холмики. Однако на старой фотографии, где могила ещё с крестом и надписью, на заднем плане была видна необычная береза – с раздвоенным стволом. И это дерево сохранилось! Тогда знающие люди провели некую работу на местности и вычислили могилу. И останки Потанина были обнаружены и перенесены в Университетскую рощу. История эта была предана мною огласке на страницах областной газеты «Красное знамя» 22 ноября 1987 года. Назвал я со слов профессора имя застрельщика всего этого дела.

И вот вскоре после публикации меня разыскал заместитель редактора газеты Юрий Иннокентьевич Гришаев, предложил зайти и ознакомиться с читательским письмом. Письмо было, мягко сказать, рассерженным. Местами натурально гневным. Говорилось о скорохватском подходе к теме и безответственном отношении к фактам. Говорилось о том, что к процессу опознания и перезахоронения названный мною человек не имел никакого отноше-

ния, а неупомянутый отец автора письма, напротив, очень много для этого сделал.

– Как поступим? – спросил Юрий Иннокентьевич.

– Я бы хотел повстречаться с автором.

– Именно это я и хотел тебе предложить, – удовлетворённо сказал Ю.И.

Автор письма сел напротив, положил руки на толстую столешницу.

– Во-первых, я хотел спросить у вас, молодой человек, давно ли вы интересуетесь Григорием Николаевичем Потаниным?

Уколы шли точно в цель. Во-первых, я уже не выглядел молодым человеком. Во-вторых, лишь два года спустя мы с Андреем Сагалаевым засядем за книгу о Большом Сибирском Дедушке, а пока я не знал о нём почти ничего. Я виновато признался в этом.

– Тогда откуда такое скорохватство? – с тихим пафосом продолжил собеседник. – Почему непроверенные слухи надо сразу тащить на страницы областной газеты?

Некоторое время избиение продолжалось. Он обличал, я достаточно невразумительно лепетал в своё оправдание что-то вроде того, что посоветоваться не с кем, что профессору вполне доверился.

Потом он испытующе посмотрел на меня, ушёл в глубину комнаты, возвратился, положил на стол клеенчатую тёмную тетрадь, открыл. На первой странице я прочитал: «По следам Г.Н.Потанина». Тут я оживился, преодолел робость, приготовился слушать. Видимо, моё покаяние было принято и учтено, потому что пошёл неторопливый рассказ с ответ-

влениями в биографии отца и деда. Мне открывалась жизнь династии просвещённых сибиряков. Я отважился прерывать и задавать вопросы, и это тоже было принято положительно. Пока Витольд Донатович кое-что зачитывал из тетради, я рассмотрел его подробнее. Он был красив. Аккуратная борода с проседью, крутые скулы, умные красивые глаза. И мне удалось заметить, как стальной блеск сменился в них тёплым оттенком. К финалу нашего разговора они иногда даже вспыхивали вполне дружески. Надо сказать, в процессе беседы (не могу сказать, что я полноценно участвовал, но это не была лекция) он предложил чаю, и я охотно согласился. Уходил, совершенно очарованный, уносил доверенную мне тетрадку.

Продолжением нашей встречи была моя большая статья «Ещё раз о памятнике в роще». Она появилась в той же газете в конце января следующего года. Но продолжением стали и товарищеские отношения на всю последующую жизнь.

Словцо «скорохват» с производными от него было определяющим жизненную и научную позицию Витольда. Сам он не искал чинов и званий. Трудно было бы с его принципиальным и нравственным отношением к жизни их добиваться. Но работал постоянно, каждодневно. Это были и научные статьи, и подробный очерк о возникновении и становлении Томска, это были его живые свидетельства о старом городе. Кстати, он совсем не чурался популяризаторской интонации. Эти книги и были рассчитаны на самого широкого читателя, и они этого читателя

нашли. И «Томск сокровенный», и «От крепости к городу» стали настольными для тех, кто не утерял интерес к истории своей малой родины.

Когда я приходил к Витольду и садился к столу – тому самому с резьбой по краю столешницы, – то вскоре забывал о местном времени, потому что переду мной текли иные времена, рушились царства, сменяли на землях друг друга народы. Тут сполна воплощался тот самый «блеск ума», как называла это качество мужа Людмила Ивановна. Да, запас знаний, эрудиция есть у многих, многие сегодня умеют выстроить лекцию. Но лететь так свободно, увлечённо, легко! Это редкое искусство. И так естественно вырывается он из древности к современности.

– Николай Михайлович Ядринцев назвал свою книгу «Сибирь как колония», стараясь этим броским названием привлечь общественное внимание. Но по-настоящему колонией мы становимся сегодня, – голос Витольда наливался болью. – Гигантские объёмы нефти и газа, выкачиваемые из нашей земли, не приносят жителям Сибири процветания и благополучия. Немалые налоги сгребают в казну федеральный центр, а уж потом там будут решать, чем можно поделиться со своей холодной окраиной. И мы смиренно ждём крошек с царского стола.

Помню, как Витольд ярко и образно нарисовал мне картину формирования сибирской ментальности, рассказывал, как она вырабатывалась – особая сибирская общность со своей культурой хозяйство-

вания. Постепенно, через столетия, к середине XIX века эта особенность оформилась как региональное самосознание сибиряка. На уровне землепашца и охотника это была доброжелательность, взаимовыручка, терпимость друг к другу и коренному населению, с которым нужно ладить, проживая на одной земле.

На более просвещённом уровне ко всему этому прибавлялась потребность в образовании,обретении знаний. И стремление это не самоцельно: знания помогут достичь процветания Сибири. Она должна, по крайней мере, жить не хуже остальной России и развиваться за счёт своих богатых ресурсов. Оттого с таким энтузиазмом все слои населения города и губернии содействовали созданию Томского императорского университета!

Когда разговор переходил к «просвещённому сибиряку», Витольд естественным образом обращался к истории своей семьи.

Прадедушка (бабушкин отец) – Иван Васильевич Бирюков «из детей боярских» – был вице-губернатором Тобольска. Мужская сибирская линия пошла от Долгоруких, сосланных сюда во времена Анны Иоанновны.

В 1902 году дед Витольда Порфирий Порфирьевич по примеру многих сибирских юношей отправился из Тобольска в Петербург, чтобы учиться, а потом возвратиться в Сибирь работать. Это потанинская традиция, его завет. Кстати, с Потаниным он познакомился в 1902 году в Петербурге в сибирском землячестве, и знакомство это не прерывалось.

(В 1920-м уже в Томске дед проводил Потанина в последний путь).

В Петербурге Порфирий поступил одновременно на физмат и на историко-филологический. Участвовал в студенческих волнениях, но никогда не был революционером, просто ему всё было интересно. Отсюда и широкого разброса знакомства – от молодого Ленина до Колчака, от Рериха до Комиссаржевской. Учился рядом с Чуковским. Страшный театрал. И ещё ухитрялся не только учиться, но и работать у Дмитрия Александровича Клеменца по упорядочению коллекции музея Александра III, чем до отъезда в Сибирь (1907) и занимался. В стенах археологического института познакомился с братьями Брюсовыми, Сергеем Дурылиным, художником Михаилом Нестеровым.

Вернулся в Тобольск. По собственной воле из чиновников по особым поручениям перешёл на службу в переселенческое управление (в крестьянские начальники), занимался организацией помощи голодающим и сиротам. Получил на этом поприще орден Владимира с бантом.

23 мая 1910 года у Порфирия Порфирьевича родился второй сын, которому дали имя Донат – подаренный.

В 1919-м семья Славниных бежала от большевиков в Томск. Дед работал сначала в губернском управлении, а с 1923 года – в университете, здесь его заботой было спасение древностей. До 1934 года занимался самыми разнообразными делами в рамках Центрального бюро краеведения. Заведовал этим

Сергей Фёдорович Ольденбург, давний знакомый деда.

До самой смерти занимался наукой. За последние 30 лет написал две сотни работ разного направления. Множество статей в уникальном издании «Большая Сибирская энциклопедия» принадлежат ему.

Дед выучил детей. А потом стал и воспитателем Витольда. Внук его родился, что называется, в поле. Место рождения – Алтайские Чуйские Альпы.

– Отец с матерью работали на рудном прииске. Мать разрешилась мной после смены, спустившись с гор на лошади. Слезла с коня, и тут начались роды... В три года отец и меня впервые посадил на лошадь, с тех пор я от них без ума. Мы рисовали с отцом целые табуны на отработанной кальке. В те годы отец нашел Будду. Бог богатства – бурханчик – с той поры мой талисман. Он добрый, терракотовый, тёплый. А вот курительная чашечка буддийская – серебро с медью: долго звенит. Вообще, я оброс мнемоническими знаками и вещами, – улыбаясь и оглядываясь на стеллажи, рассказывал Витольд.

Отец, мать и Витольд вернулись в Томск, когда ему нужно было идти в школу. Отец вскоре уехал работать на Чукотку. В эти годы окрепла дружба внука с дедом и бабушкой. Витольд вспоминал воспитание по-дедовски: тот водил его в гости по старым интеллигентным семьям Томска, так усваивались правила поведения. У деда было два главных императива: «надо» и «нельзя».

Что формирует личность? Здесь много составляющих – и закономерных, и случайных. И всё-таки главные – семья, окружение и, видимо, воля самого человека. В семье Славниных был культ знания и познания, ответственности за слова и поступки.

– Этим живу до сих пор, – говорил Витольд. – Осыпается то наносное, что налипло за многие годы жизни. С каждым годом ближе к самому себе, к своим истокам.

Оттого и одна из любимых моих книг Витольда «Томск сокровенный» открывается волнующим посвящением: «Деду и отцу, научившим меня видеть и размышлять».

На одном из книжных стеллажей стояла фотография отца – Доната Порфирьевича. Как-то Витольд дал мне прочесть надпись на обороте, а я попросил разрешения её переписать.

Надпись на снимке: Сыну моему Витольду. В мои детские годы разгромили высокие идеалы и опустошили, огрубели души. Мне трудно. Всё же дарю тебе себя с пожеланием высокого устремления души и приверженности честным идеалам. Только Природа истинно красива, философски едина и многогранна в своей жизни. Всегда любящий тебя отец. 5.IV.1974 г. Томск

Донат Порфирьевич Славнин был разносторонним человеком. Его научный интерес лежал на стыке

геологии и археологии вкупе с этнографией и этнологией народов мира.

Добавим ещё безусловную литературную одарённость. Могу свидетельствовать: обычный полевой дневник 1957 года (я опубликовал его фрагменты в книге «Земля парабельская») обнаруживает и наблюдательность, и умение обрисовать внешность, характер встреченных в этой поездке людей.

Как геолог исколесил он Восточную Сибирь и Дальний Восток. Занимался поиском и разработкой ртути в Горном Алтае, урана на Чукотке, золота на Колыме. И в то же время там, на Колыме, по просьбе крупного российского геолога Венедикта Хахлова проводил палеонтологические изыскания.

В 1957 – 1962 годах, работая в Томском областном краеведческом музее, Славнин занимался широким кругом вопросов – археология, история Томска и области. В середине 60-х Славнин при поддержке близких по духу ученых занялся подготовкой общесоюзных научных конференций памяти Ростислава Ильина и Лазаря Шорохова. Первая была проведена в 66-м, вторая – в 69-м. Позднее, в 1974-м, выходят научные сборники с публикациями их трудов и статьями Д. Славнина. Так восстанавливаются добрые имена и научный вес этих ученых. Так Донат Порфирьевич исполняет свой долг перед учителями. Представляете, каково это было сделать в брежневские годы, учитывая, что и Шорохов и Ильин были уничтожены в 37-м году как враги народа. Часть их научного наследия и полевых документов была собрана и сохранена Славниным, сегодня это хранится в архиве сына.

В 1966-м Донат Славнин завершает свою работу «Минувшее Томска в эскизах сибиряка». Сколько любопытных историй связано с каждым старинным домом нашего города, сколько там истинно живой старины! Невозможно охватить многообразия его трудов и дел. Но как не упомянуть ту самую потанинскую эпопею, когда Славнин с ближайшими друзьями повел борьбу с чиновниками за перенесение праха Григория Николаевича Потанина с уничтоженного Преображенского кладбища в Университетскую рощу. И это удалось сделать!

Участвовал Донат Порфирьевич и в перезахоронении останков знаменитого геолога М.А. Усова.

Многие годы им разрабатывался и внедрялся (при участии В.И. Матющенко и А.П. Дульзона) синтетический геолого-почвенно-археологический метод, а затем и естественнонаучная датировка археологических памятников. Между прочим, по точности он не уступает известному радиоуглеродному методу.

(Поборником геолого-палеографического метода в археологии в наше время оставался Витольд Донатович. Он издал пособие для студентов-геологов политехнического университета, созданное на этой научной основе).

Сильный волевой человек с обостренным чувством справедливости и чуткой совестью, Донат Славнин не терпел лицемерия и шкурничества. Оттого для многих был неудобным человеком. И всегда старался каждое дело доводить до конца, работать профессионально и основательно.

Витольд был последним живым звеном в цепи этих старых русских сибирских интеллигентов. И достойно замкнул эту цепь. Он не раз повторял, что всем духовным обязан именно семье. И стремление к археологии, этнографии – тоже потомственное. Да и умение работать со словом вполне наследственное – в семье говорили на хорошем русском языке, и не зря дедовскими товарищами по Питеру были известные русские литераторы.

Обстоятельства нашей первой встречи с Витольдом были если не курьёзны, то необычны. Но как бы то ни было она стала началом двадцати с лишним лет дружеского общения. Формула «искусство жить достойно» у нас обычно связывается с именем Монтеня. И каждый, видимо, наполняет эту форму своим содержанием. Витольд самым образом жизни подтверждал возможность жить достойно. Он прощал какие-то мелкие проступки, незадачливые проколы, но не прощал подлости, предательства. Об этом тоже не кричал, не старался кого-то ославить, просто делал выводы, исключал человека из своего ближнего ли, дальнего круга. Жена Людмила Ивановна вспоминает, как на её потрясение, когда она рассказывала о недостойном поступке одного знакомого, от которого вроде этого трудно было ожидать, Витольд говорил ей успокоительно: «Слаб человек...».

Витольд, как и многие из нас, достаточно скептически смотрел в будущее. В будущее страны, цивилизации в целом. Но этот скепсис не распространялся на личное поведение типа: и гори оно всё ясным пламенем. Нет, он поставил себе задачи и выполнял их.

В первых археологических раскопках Витольд участвовал ещё школьником, а в студенческую практику близ посёлка Самусь сделал первые находки. Вспоминал, как его тогда поразило: в раскопе вступаешь на землю, на которой три тысячи лет никто не стоял. И с того времени каждый год – полевые работы. Сначала юг Томской области, потом в 64-м занесло на Север, и до 1975 года работал на Парабели, на Васюгане, и семь лет на Вахе. После того, уже работая в Алтайском университете, начал пешком и верхом объезжать свой Горный Алтай, где появился на свет. Там запустил свою теорию «Индоевропейцы на Алтае». Там познакомился с Людмилой Ивановной, тогда студенткой. А летом 1984 года состоялась их новая встреча в Горном Алтае.

– Помню 27 июля её явление – хрупкий силуэт на фоне заходящего солнца... Я разглядел в ней учёного и напутствовал в науку. Сейчас который уж год учусь у неё сам. Из неё вышел блестящий полевой и кабинетный этнолог, который в известной степени продолжает нашу линию – деда, отца и мою, – не без гордости рассказывал Витольд.

А это записано на диктофон, когда я готовил телепередачу о роде Славниных:

– Последние годы сижу дома. Достаю старые записи, осмысляю. Душа во многом связана с Севером. И вот я почувствовал, что катастрофа, которая связана с освоением Севера, должна быть отражена. И понял, что сегодня моя задача – просветительство. Монографию прочитает десяток-другой. Гораздо лучше, когда прочитают сотни, а может быть, тысячи

людей. Если в первой книжке про Томск сокровенный отдал долг отцу (ещё много на мне долгов), то в этой – он брал в руку книгу рассказов «Где брат твой Авель?», – написанной по полевым дневникам 1964-1975 годов, отражено то, чему я был свидетелем и участником во время этнографических и археологических работ. А дневники я вёл тогда не только рабочие, специальные, но и общие, как меня учил мой дорогой батюшка ещё в 50-е годы. Там и трагичное, и смешное. Книжка написалась сразу. Появилась она благодаря Валерию Николаевичу Кугаевскому, который в 74-75 годах был со мною в экспедиции на Вахе. Так исполнил ещё один долг – перед коренными народами той земли, к которой я прикипел и которую тоже считаю своей.

Сейчас она, к сожалению, распята. Мне кажется, я сказал о тех людях правду, которую я почувствовал и увидел. И правду о нефтяных городах будущего – это ведь начало Нижневартовска, Стрежевого. Кому-то это, конечно, не понравится. Но были не только стройотряды и романтика, были бичи и убийства.

Это пока всё, что я могу предложить городу и миру. Но останавливаться на этом не буду.

Витольд ласково гладил ладонью дорогую ему книгу, где на обложке изображён Евстропий Прасин из ваховских хантов. Как рассказывал Витольд, он набросал его портрет при свете керосинки. Они много работали вместе. Старик – своего рода символ самобытной жизни, убитой цивилизацией. Он был Манчоку – это нечто между шаманом и сказителем.

Витольд Донатович умер 15 января 2012 года. На другой день мне сообщил об этом Витя Юшковский, уже много лет опекающий Витольда во всех хозяйственных делах и, конечно, поддерживающий с ним дружеские отношения. А я вот непонятно как отдалился в последнюю пору. Я задним числом узнал о переезде в эту просторную светлую квартиру и не смог поучаствовать в меру сил. И никак не собрался зайти. Сделал это после звонка того же Виктора, который сказал, что Витольд приболел. И правда, застал его непохожим на прежнего Славнина – угасшим, пригнутым к столу, решительно изменилась речь – не то чтобы спотыкался, но проговаривал с трудом, с усилием. Однако посидели мы долго, я несколько раз намекал, что готов дать ему отдохнуть, но Витольд останавливал мягким движением руки. Знакомый жест, я знал его и раньше, иногда его ладонь ложилась на мою руку, он слегка пожимал её, успокаивая или соглашаясь – по ситуации. Никакого самого мягкого укора он мне не высказал, что вот, мол, забыл старика. И я как-то преодолел стыд за своё необъяснимое невнимание, отдаление. Мы хорошо поговорили, я рассказал о том, чем занимаюсь, спросил, что он поделывает.

Витольд сказал, что взялся за обработку алтайских полевых дневников, из чего должны сложиться рассказы, подобные северным, которые составили книжку «Где брат твой Авель?». Я предложил напечатать несколько эпизодов в нашем писательском журнале «Начало века», и Витольд охотно согласился. Вручил мне флешку с уже готовыми рассказами,

позволил самому выбрать, что подойдет для публикации. Я прочел всё на два раза, всё было по-своему интересно. Выбрал истории, которые крепились на каком-то сюжете, учитывая нашу аудиторию. Он принял мой выбор. Рассказы мы поставили в очередной номер, а я занёс ему последний из вышедших с просьбой посмотреть мой очерк о Лёхе Рыжем, сыне писательницы Марии Халфиной.

К тому же на возвращенную флешку я записал начало очерка о нём, о Витольде Славнине. Я сослался на разговор с Борисом Николаевичем Пойзнером, который одоблив мои памятные заметки об Андрее Сагалаеве и Толике Перервенко, сказал, что надо бы и о живых писать. И я принял его пожелание.

Витольд вскоре позвонил, высказался о моём очерке, оценка его мне была важна – он неплохо знал героя. Потом одобрил зачин истории нашего знакомства, отбросив мои сомнения, уместна ли самоирония. «У меня есть одно замечание, – сказал Витольд. – Там, где ты говоришь про наши отношения, я убрал бы твоё «смею сказать».

Фраза моя звучала так: « продолжением стали, смею сказать, товарищеские отношения на всю последующую жизнь». Я убрал эту оговорку, поправка Витольда была мне приятна.

Журнал наш застрял в производстве. Что-то напортачили мы, потребовалась перевёрстка, да и типография зашивалась новогодними заказами. Короче, в предновогодние дни я к нему не заехал, обменялись телефонными поздравлениями, договорились, что приду с журналом. Но этого не случилось.

17 января в жутко студёный день (было за тридцать) поехал я в «Белый ангел» – скорбное место в Университетской роще, откуда немало друзей-курсников уже проводил в последний путь. С проспекта шёл я мимо главного корпуса нашего красавца-университета, проносились обрывочные, несвязные мысли о том, как мы здесь когда-то пробегали совсем в другом настроении. Мы не думали, а просто знали, что целая жизнь впереди, что нас ожидает много чего интересного, нового, значительно. А эта аллея, по которой я сегодня шёл, не впервой ведёт меня к прощанию с ещё одним дорогим человеком. И об этом заговорили мы с Борей Андрющенко, который встретился тут, у дверей ритуального зала. «Приходится уже спокойнее всё это воспринимать, – сказал Борис. – В такую пору мы вступили».

Витольда я видел плохо в силу своей близорукости, да и слёзы постоянно наворачивались. При выносе попробовал подойти ближе, но заслонили знакомые и незнакомые люди. Как ни экипировался я в пимы и тёплые меховые рукавицы, всё-таки не решился ехать на кладбище – кашель не отпускал в эти дни. Я ехал домой, вспоминал два с лишним десятка лет нашего дружеского общения, вспоминал его добрую улыбку, его правильную и выразительную речь потомственного сибирского интеллигента. Очень жаль его как близкого человека. И жаль, что уходят люди этого стана, старомодные люди, которые позволяли себе иметь нравственные установки, принципы. И никакие соображения «пользы дела» или карьеры не могли их отменить.

СТАЛА ТЫ СВЕТОМ

*...Знаю, стала ты светом,
но не ведаю, где ты,
и не знаю, где свет.*

*Хуан Рамон Хименес
(перевод А. Гелескула)*

Если бы мы жили последние десятилетия не порознь, не знаю, как бы я перенёс твой уход. А вот так, на расстоянии, оказывается, могу. Так вроде несколько подготовлен к не присутствию рядом. Что-то выгорело внутри. Какие-то мостки обрушились, но что-то живёт и поддерживает. Одно чувство не покидает – незаслуженно добавленного мне времени жизни.



Сейчас за окном моего деревенского дома в Тимирязево любимое время года – осень да ещё и в лучшем проявлении: сухо, солнечно, тепло. Вокруг вечнозелёные сосны. Такими тёплыми вечерами много лет назад мы любили сидеть возле сарая моего тогдашнего друга на месте будущего его дома, который так и не был выстроен. Горел костёр. Мы слушали джаз или ещё что-то минорное, пили водку на травах, говорили о жизни и бытии. Да, так.

Проснулся в шестом часу утра и вдруг пошли передо мной наяву чередой картины, где она весёлая и подвижная: то мы на лыжах, то пешком возвращаемся по зимней дороге из Михайловки, то срываем зверобой на полях. И глаза, и голос. Живая. И так сдавило виски до жара в голове.

Открыл том Блока. Хотелось понять, почему же Бродский так его не любил. Скажу сразу: не понял этой неприязни. Но стал читать, находить замечательные стихи. А потом и те, которые мне читала она. Блок был её любимым поэтом. Его строки возникали почти в любом жизненном контексте. И просто в свободный час. «Отворяются двери – там мерцанья», «Девушка пела в церковном хоре», «Я не люблю пустого словаря», «Превратила всё в шутку сначала», « На железной дороге». Да разве всё перечесть.

Это она повернула меня к Блоку. И он навсегда занял большое место в моей жизни. До того всех заслонял Есенин. Позднего Пастернака (стихи из «Доктора Живаго») я просто слышу с её голоса. Там много пережитого нами вместе. Вообще читала она что-то наизусть удивительно просто, как будто пред-

лагая разделить чувство, которое в этих строках заключено – грусть, сострадание, любовь.

Или восторг. Так она читала «Тигра» Уильяма Блейка:

*Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?*

.....

*Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?*

С того дня этот тигр светло горит передо мною уже четыре десятка лет!

Лидия Гинзбург вспоминала об Ахматовой: «Она обладала особым даром чтения». Имеется в виду, в отличие от профессионального чтения, ориентированного на специальные интересы, способность читать бескорыстно. «Поэтому она знала свои любимые книги как никто». Всё очень похоже.

В дорогом для меня томике «Зарубежная поэзия в русских переводах» остались её закладки. И я открываю, бередя сердце. Генрих Гейне в переводе А.Григорьева: «Страдаешь ты, и молкнет ропот мой; / Любовь моя, нам поровну страдать». Вот Беранже в переводе В. Курочкина: «Как яблочко румян, / Одет весьма беспечно, / Не то, чтоб очень пьян – / А весел бесконечно». Верлен (перевод Ф.Сологуба): «Под чьей-то рукой / Я – зыбки качанье / В пещере пустой... / Молчанье, молчанье!». Уитмен (К. Чуковский) : «О Капитан, мой Капитан! сквозь бурю

мы прошли... Звените, смейтесь, берега, / но горестной стопой/ Я прохожу по палубе, / Где пал он неживой». Гёте (в переводе Б.Пастернака): «И кубок свой червонный,/ Осушенный до дна, / Он бросил вниз с балкона, / Где была глубина»...

Оглядываясь на начало абзаца, скажу, что книга дорога мне этими закладками, а ещё и памятью о том августовском дне 1968-го, когда с вузовским другом Володей Лосевым мы зашли в прохладный деревянный магазин на его родине, в селе Курагино (на ветке Абакан-Тайшет) и купили там по такому замечательному томику.

Меня отчислили из университета в начале 69-го, мы не увиделись тогда. У тебя была любовь. Потом я восстановился, представив положительные трудовые характеристики. А ты в ту пору родила дочь и жила дома с родителями. С отцом ребёнка не сложилось.

Зимой на четвёртом курсе у меня было недолгое, но бурное увлечение сокурсницей Людмилой. Знающие мою романтическую натуру выбора не поняли, не одобрили – слишком она была проста. Но зато как смешлива, как легка на подъём. Да и симпатична – длинноволосая, с живыми карими глазами. Помню, в ту зиму мы измяли все сугробы вдоль ограды университетской рощи. Сколько было смеха, веселья, я бы даже сказал, счастья. Эти жаркие губы в снегу, этот снег, тающий на щеках и ресницах. Но она не давала пойти дальше. Я понимал: виной опять же моя легковесность, неосновательность. Мы с нею поговорили. Всё подтвердилось. Почти никому из девчонок не хотелось ехать по распределению в дальние сибирские сёла. Многие и вообще не готовы были

стать учителями. И у неё был на примете основательный человек.

Да ведь ещё раньше одна девушка сказала мне: «Неплохой ты парень, но пацан пацаном. А мне о будущем пора думать. Ко мне уж не первый раз сватается хороший человек. А ну как передумает, кому я тогда нужна?».

Все эти забавности, увлечения. Наверное, я и сам понимал их временность, что ли. Было много прошедших мимо, не замеченных мною, а порою аккуратно, расчётливо обойдённых ситуаций со знакомством. А в случае с тобой как произошло? Сам я вышел на это или вынесло какой оказией? Но главное: не пропустил. И вот – совпало. Когда ты появилась, сразу возникло понимание, нет, ощущение твоей необходимости. Именно необходимости.

«Любовь была ниспослана тебе, а ты не смог её принять» – прочёл я когда-то. И подумал, что, слава богу, это не про нас.

На последнем моём университетском курсе это случилось. Появилась ты, оставив девочку дома. И вот в нашем общежитии в одной умной компании я увидел тебя – черноволосую девушку с короткой стрижкой и выразительными, чуть насмешливыми тёмными глазами. Не знаю, в эту ли встречу, в следующую ли я влюбился безоглядно. Вскоре понял, что это не из тех влюблённостей, которые случались прежде. Никогда до этого не думал о создании семьи, о желании, что называется, вместе идти по жизни. А тут понял, что это что-то серьёзное. Не понимаю даже, каким образом. Чутьём, что ли. Но это было

началом нашей общей судьбы. Потом ты надолго, на пятнадцать лет, стала моею женой. У нас родилась дочь.

И жили мы, не только «обчитывая» друг друга стихами или окунаясь в любимую музыку. Мы жили в непростом быте, мы даже выживали вопреки обстоятельствам. Всё было против нашего союза. И уехал я по распределению в Монастырку один, и ты приехала ко мне не то чтобы тайно, но без всяких оповещений родни. Моя тётя Ксения первой узнала об этом и приняла как данность. После рождения Ольги, которое никак не смягчило сердце моей матери, мы за каких-то полгода сменили три съёмных квартиры, даже и не квартиры, а угла. В подвале у фотокофа молодёжки, ещё у одной газетчицы в микрорайоне Каштак (тогда унылом, продуваемом всеми ветрами), наконец, в частном доме на томской окраине Степановке. Зарплата нищенская, в магазинах – шаром покати. Редкие подпитки от тёти, нечастые и, понятно, скрытые от матери то рубли, то продукты от отца.

Тот, кто с тобой общался, сразу понимал, с кем имеет дело. Лёха Рыжий со свойственной ему прямотой сказал мне: «Тебе до неё как до Монголии шагать». Но, ей-богу, ты видела во мне что-то, о чём я сам, может, не догадывался. Помню твоё замечание о том, что в стихах я умнее, чем в жизни. Не попросил тогда растолковать. А по сути так оно, пожалуй, и есть.

Сама ты во многом сформирована комплексом провинциала. Говорю в сугубо положительном смысле. Эти молодые люди, проживая вдали от

крупных центров, понимали, что им не помогут выставки, концерты, театральные премьеры. Продвинутые учителя были редки. Значит – самообразование. Часть информации (в том числе и в культурной сфере) была от нас сокрыта. Но можно было заложить в себе фундамент для будущего развития, принять базовые ценности. Это и отличало скромных ребят из затерянных во глубине Сибири и России мест от представителей городов с налётом столичности. Те могли блеснуть знанием современного авангарда, именами Поллока и Веберна, но теряли самоуверенность при погружении в историю живописи или музыки. Потому ты общалась с ними спокойно, перенимая то, что они нахватили из заграничных журналов, что невозможно было узнать из наших книг. Ты и без того много знала в музыке и литературе и суждения твои были оригинальны и независимы.

В тебе совершенно не было пошлости. К тебе не прилипала пошлость людская, хотя с людьми ты общалась гораздо больше меня, и с самыми разными.

Как хорошо ты видела и различала людей. Помню, в нашем поселковом клубе (перед фильмом, кажется?) мы увидели гостей из города. Приехали они по своим делам, что-то инспектировали. Одного из них я знал, а ты не знала. И вот именно на него указала глазами: «Гляди, какой неприятный человек». Это был секретарь райкома партии Габрусенко. Я согласился, потому что присутствовал на планёрках, где он «делал разнос» руководителям разных служб района. Но вот так, с полувзгляда!

Она много знала и умела. Понятно, исключаются специальные области знаний (типа генетики, хотя и тут она имела крепкое представление о предмете). Исключаются практические навыки оленеводов или альпинистов. Но в целом её охват мира не сравнить с людьми моего ближнего и дальнего окружения.

В лесу, на поле, у реки ты могла назвать по имени любое дерево, кустарник, цветок и травинку. Любую! Откуда это? Ссылалась на бабушку, но ведь и постоянно листала справочники. Более того, ты знала, как эта трава или корень или плод могут помочь нам в оздоровлении. Мы ходили на луга под тогда ещё спокойную захолустную деревню Кисловку, собирали зверобой и душицу. Ты заваривала их в удивительно точной пропорции с чаем (пусть даже второсортным грузинским) и получалось душисто и вкусно.

Вообще при тогдашней нехватке продуктов в магазинах и нашей бедности для того, чтобы брать их на рынке, ты замечательно готовила из подручного материала. И без напряжения, так, между делом. За разговором, за обсуждением какой-то темы выкладывала на тарелку картошку, присыпая приправой (вот хмели-сунели в магазине был в изобилии и всегда). На прилавках был тогда хек (его звали «друг народа») и минтай. И ты жарила, тушила, а потом приносила запекать в фольге так, что мой отец, признававший только речную рыбу, заходя в гости, с удовольствием это ел.

Вся жизнь, все измерения бытия могут стать музыкой. До этого мы не дотянули. Но и прогулки по высокому сосновому бору и встреча заката на травяном берегу нашего озера, костёр в лесу давали ощу-

щение целостности мира, и шорох листьев, и блики на воде обращались в волны музыки. И в этой музыке, и в той, где звучали валторны и клавесины, была бесконечность грусти, печали, страдания, но всё это уравнивалось бесконечной радостью преображения в некую творческую энергию. Эта энергия питала нас. Я тогда не чувствовал убывания жизни, сил жизни. Или просто не пришла пора этой убыли? Сегодня я почти не слышу ту музыку. Но она была. Мне жаль тех, для кого лес и поле вообще оставались и остаются в немоте.

Многое, любимое ею в музыке, не стало таковым для меня: Рахманинов, Стравинский. И не потому, что она окончила музыкальную школу. А просто не могут же люди совпадать как две части полушарий, разъятых на школьной географической карте. А вероятно, и могут...

Мы ведь совсем не были похожи. Даже вузовские сочинения наши очень разнились. Если я обрисовал путь Ниловны в революцию, то ей довелось свободно написать о Сент-Экзюпери, о его Маленьком принце.

Помню другие непонимания, расхождения. Я никак не смог вчитаться и полюбить Томаса Манна, а «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья» были любимыми её вещами. Она и не пыталась мне навязать свои вкусы и пристрастия. Это не касается стихов, открытых ею для меня, подаренных мне. На какой-то вечерней прогулке она тихо сказала:

*Не знаю, отчего
Я так мечтал
На поезде поехать.*

*Вот — с поезда сошёл,
И некуда идти.*

Я посмотрел вопросительно, признавая своё невежество.

– Исикава Такубоку, – сказала она и без моей просьбы прочитала ещё:

*На песчаном белом берегу,
Островке
В Восточном океане
Я, не отирая влажных глаз,
С маленьким играю крабом.*

Потом я читал Такубоку в переводе Веры Марковой, полюбил, узнал о краткой трагической его жизни, прочёл строки, которые высечены на памятнике, поставленном на побережье острова Хоккайдо, недалеко от родных мест поэта:

*На северном берегу,
Где ветер, дыша прибоем,
Летит над грядой дней,
Цветёшь ли ты, как бывало,
Шиповник, и в этом году?*

Много раньше меня она открыла Платонова. Не просто прочла. Прочитанное всегда было для неё либо источником размышлений, либо что-то объясняло в себе, в окружающем мире. Я не всуе вспомнил Платонова. При его посредстве она рассказала о своей первой любви, о духовной и половой сторонах этого чувства. Как любовь не нарушает целомудрие, а делает его союзником. Как становятся неразделимы голос страсти и голос сердца. Чувственность (особенно в юные годы) – тревожная, необъяснимая вещь. И потому я укрощал ревность, я не имел

на неё права. Кажется, я понимал их расставание вплоть до того, что несчастный Федя оставил университет и уехал к себе на родину, в краснодарскую станицу. Я знал, что его любимая картина «Взятие снежного городка» и разделял его вкус. Знал, что он любил огонь (и ведь я – тоже). Но я не смог бы, как он, разложить костерок прямо у порога в комнате общежития.

Любовь – сокровенная, хрупкая, трепетная материя. И надо было стараться сберечь её уже в нашем случае. И мы старались, оставаясь при том максималистами. Ведь ещё в ту пору мы не хотели понять, как это жена художника, долго пребывая любовницей поэта-символиста, не решалась уйти к нему из-за детей. И напротив, английская аристократка, которая оставила очень богатого мужа и ушла к нищему любимому, была *нашим* человеком.

Разве мог я правильным, умудрённым людям объяснить, отчего же мы расстались. Им нужны были так называемые измены или невыносимый характер, непонимание, достигшее апогея. Но не было ничего этого. Мы только сказали друг другу, что, кажется, утратилась та острота чувства, его свежесть, болезненность переживаний, необходимых нам для того, чтобы быть вместе. Нам бы осмыслить, что чувственность стала чувством. Понять, что в том нет большой беды. Куда там! Как были, так и остались максималистами, не «поумнели». Понимали: что-то уходит незаметно, и назвать это «что-то» невозможно. Как у Хемингуэя в одном рассказе герой пытается объяснить своей женщине: «Всё это больше не в радость».

Расстались. Пробовать доискиваться причин? Но

так называемые простые люди из нашего окружения себе всё объяснили. И я услышал две равнозначные версии: по одной это я связался с молодой женщиной, по другой – к ней стал часто захаживать наш старый товарищ, и надо было этому положить конец. Помню, я полушутя спросил её при нашем разезде, что говорить, если спросят. Она так же полусерьёзно сказала: «Говори, что вдруг обнаружилось, что мы не подходим друг другу».

Вот как надо любить: не давать никаких оснований для борьбы самолюбий, раздражения, срывов. Написал, и самому неловко стало: если ты знал об этом, почему не следовал такому диктату. Или тотчас прервать ссору, не дав разгореться. Если бы так. Ругались яростно. Бурно. Вот одно надо отнести в заслугу: мы ни разу не ударили друг друга даже в самой горячке ссоры. А доходило до того, что я выбежал из дома, пересекал бор до шоссе и шёл дальше в глубь его, либо бежал на поля, что под горой рядом с нашим озером Нестоянным. Или как-то в городе я бросил её у трамвайной линии и пошёл совершенно незнакомыми улочками старой части по имени Болото, и выходил на Ушайку и возвращался к этим вросшим в землю домам и выбирался наконец на привычный Обруб, снова погружался в это ...

Помню одну из причин ссоры. Что-то мы делали сообща на улице, она вышла, а по радио пошла песня с чудесными фатьяновскими стихами «На крылечке твоём». Я дослушал, во дворе объяснил, почему задержался. И она прямо взбрыкнула, не с лёгким каким-то укором, а яростно выговорила за мой эгоизм:

«И ты не мог мне крикнуть?!». И на некоторое время мы рассорились, не общались.

Никогда никому из нас не приходило в голову этак по-народному ревновать. Даже представить себе это было смешно, потому что мы выбрали друг друга насовсем. Помню, мы уже были мужем-женой, поехал я с тётёй далеко в южные, казачьи места к давней тётинной подруге. И там была её дочь, только что закончившая вуз, прибывшая домой на последние, так сказать, каникулы, потому что выходила замуж и уезжала. И вот гуляли мы с нею вечером, быстро перешедшим в южную ночь, и она мне рассказывала, позволяя держать её под руку, что якобы когда-то мой папа был влюблён в её маму и всё было у них серьёзно. Но её отец оказался умелым и настойчивым ухажёром и маму отбил. И была она избыточно кокетлива и смеялась чересчур, но, показалось, я влюбился в неё, и целовались мы не совсем по-братски. Однако наутро, при дневном свете, я отчётливо понял, что это проделки тёплой ласковой ночи, что любовь моя – одна, как и жизнь.

Кто-то из её подруг-сокурсниц недавно сожалел, что на кафедре не разглядели в ней преподавателя. Но, во-первых, возразил я, она не смогла бы поставять привычную (и необходимую) фигню в виде докладов и диссертации. И, пожалуй, семестра бы не выдержала со своей привычкой говорить то, что думает и о том, что видит. А самое главное: ей, конечно, нужны были юные ученики, которым она могла дать не только знания, а отдать частицу души, передать своё мироощущение. И в них – почти в ка-

ждом – разглядеть что-то особое, интересное и поддержать это. Слава Богу, так получилось: она состоялась в школе, здесь она нашла себя.

Вот эти сегодня уже взрослые люди спрашивали о ней: как жизнь, как здоровье. Они говорят мне, что и не подозревали, что история и литература так близки к повседневной жизни. (Она историю тоже преподавала). Она была настоящей подвижницей, отдавалась своему делу сполна. Одна ученица, ныне врач, рассказывала, как после Наташи заступил новый учитель, и сразу настолько померкла для неё история, что она бросила её учить. Тома, сестра Наташи, вспомнила, как неожиданно много пришло людей на похороны. И в основном это были её ученики и их дети. Была она организатором вечеров в своём городке, на которых помогала находить общий язык людям сложного характера, замкнутым, оттого утратившим надежду на взаимопонимание.

А молодые ребята, в которых она поддерживала, выращивала таланты, способности, которых они сами ещё не осознали! Дмитрий, её ученик, ставший священником, понимающий в своём сегодняшнем положении еретичность её мировоззрения (этот сплав православия и агни-йоги) всё-таки не мог ей возражать при встречах и беседах. Он признал и её правоту.

Смотрел её фотографии из уральских походов уже наших отдельных с нею лет. Она неизменно в плотном окружении мальчиков, девочек. И видно, как они стараются быть ближе, положить ей на плечо руку, прислониться. И она с неизменной доброй улыбкой. А с годами (на поздних снимках) с улыб-

кой, несколько отстранённой, как будто направленной внутрь, рассеянной или адресованной кому-то для нас не видимому. Чему-то неведомому.

Просто, достойно и с юмором (где это было уместно) держалась она в апреле 80-го, когда в нашем доме шёл долгий обыск до самой ночи. Капитан Кулешов из милиции, пристёгнутый чекистами к обыску, покидая дом, спросил у неё простодушно: «Можно иногда зайти, просто посидеть с вами?».

У нас бывало немало гостей. Ни до, ни после, ни у каких-то знакомых я ничего подобного не встречал. Никаких предварительных подготовок ко встрече, никакой паники, никогда. Гости объявлялись неожиданно, и встречали их спокойно. Они либо болтали о чём-то во дворе, либо (если погода не баловала или зимой) слушали музыку, тоже болтали. Она была тут же, подавала реплики, шутила, убегала на кухню. И ко времени появлялись кушанья, не богатые, не изысканные (откуда им взяться?), но вкусные, неожиданные, как суп из топора.

Однажды, в Тегульдете, мы вышли зимой на прогулку. Уже обступили нас синие сумерки. Шли лесной тропой, и вдруг ты заухала как филин и, махая руками, побежала вперёд. А потом обратно к нам. А когда вернулись домой, сказала: «Я думала, что взлечу. Чего-то чуть-чуть не хватило». И мы с Таней (той самой девочкой, из-за которой пришлось прервать ученье в университете) не рассмеялись дружески, а почему-то поверили этому.

Летом в Томске мы сошлись на концерте Жан-

ны Бичевской в Доме офицеров уже перед звонком. Я прибежал после работы из своей районки, а ты после школы, из Тимирязево. В руках у тебя был чудесный букет полевых цветов, и ты сказала, что прошла полем, собирая цветы, до остановки у бензозаправки. И после концерта Жанны, которую мы тогда очень любили, ты подала ей цветы, и она (я тоже подошёл к сцене) так хорошо и благодарно поглядела на тебя, приложив руку к сердцу. Через полчаса я говорил с ней (интервью пошло в молодёжку). Так и хотелось вернуть, что этот полевой букет поднесла моя жена, но не сказал. А почему? Что уж в этом было бы нескромного?

В Монастырке, где я учительствовал, она иногда составляла мне компанию, когда надо было посетить родителей ученика. Помню, зимой побывали мы в соседней Михайловке. Говорил я отцу одного семиклассника, что мало прилежен его сын, не усидчив. Он слушал меня как будто всерьёз. Потом лицо его повеселело, положил мне руку на плечо и сказал: «Нам бы с ним как-нибудь восьмилетку закончить, а дальше разберёмся. Он парень работающий – не пропадёт. Давай лучше выпьем за знакомство». Я пожал плечами – согласился. Выпили с ним и с Наташей по стопке самогона, потом ещё по одной, благодарили, поднялись идти. На прощание он решил подарить зайца, которого тот самый нерадивый сын поймал в петлю. Отказывались, но безнадежно. Поладили на том, что вручили хозяину какую-то символическую денежку – больше он не брал. Пошли мы по морозу домой, сияли звезды, после самогона стало тепло и весело. И всю дорогу мы говорили дурацкими ям-

бами и хореями, хохотали. Оставленная деревня потонула во тьме, и нашей ещё не видны огоньки. Но необъяснимая полнота мира была сегодня здесь, с нами. Потому что в сердцах наших любовь и молодость. И тогда не думалось об этом, а просто переживалось, как данное. Похожее у Ахматовой:

И всё ближе подходит чудесное...

Мы ехали в поезде на Урал с маленькой (9-месячной) Ольгой на руках. Я волновался. Тесть, тёща – непривычные, новые слова, которые теперь имеют ко мне отношение. А за ними – люди. И вот на перроне южноуральского Бердяуша встречает нас человек крупного сложения с располагающим добрым лицом. Он сразу принимает внучку на руки, в глазах его интерес и радость. С первого взгляда на тёщу, открывшую нам дверь, я понимаю, что это человек бесконечной доброты (что потом ни разу не поколебалось).

На Урале у меня появился замечательный *свояк* – муж Наташиной сестры Томи. Рабочий парень Володя Прыгунов где-то и не разделял наши политические установки, но оказался удивительно отзывчивым человеком. В свой отпуск он приезжал к нам в посёлок и вкалывал в полную силу на заливке фундамента, на сооружении прируба к дому, участвовал в настиле полов и обшивке стен вагонкой. Этого нельзя было не оценить, и я, конечно, никогда такого не забуду.

Так же полюбил я сам Урал. Правда, несколько позже. В ноябре того 1975-го я мало увидел окрестности. Заснеженные горы – и всё. Но люди! Я просто не мог уехать. И вот – у меня это бывало с детства – крепко поднялась температура, и мне выписали больничный

лист на неделю. Я телефонировал в свою районку. И ещё неделю оставался с этими чудесными людьми. Уезжал, отрывая от себя родное.. Новый год встречал грустно, хотя рядом были родители. В последний день года был желанный звонок с Урала. А следом пришло письмо, которое сохранилось.

Штемпель «Тимирязевский. 7.01.76».

Здравствуй, милый мой, нежный мой Крюков! Слава богу, всё у тебя хорошо.

У нас тоже стало хорошо, у Ольги происходила небольшая акклиматизация – хандрила, соплями мучилась. Зубы стремительно выросли – длинные и острые, мясо съедает до последней молекулы. Дед её трогательно полюбил, с порога зовёт свою «Тё-ко-тёко». (Тома резюмировала: вот и япончик в доме завёлся). Ольга отвечает взаимностью. Вообще она хорошо вошла в наше сборище. Мишу зовёт «дядя», он её «Люлиё». Ползает в платье как круглая черепашка – бегом, от Таньки не отстаёт. По вечерам полностью на Таньке – та её развлекает до ночи.

Вот так живём. Я в последнее время шью без памяти – и к новому году всех обшиваю. Набрала дополнительного мастерства. Читаю ещё, конечно, много. Из перечисленных книг пришёл к Любе (сестра Люба работала тогда в библиотеке) только Шукшин, которого она мне сразу же и подарила.

У нас всё такие же ужасные ветры – не выбралась ни разу в лес. Но чувствую себя хорошо, спокойно, каждую минуту люблю тебя и благодарю небо, что знаю тебя.

Через день, по крайней мере, делаю гимнастику по-индийски. Думаю, надо и тебя приучить – инте-

ресно и ощутимо полезно для кишечника, лёгких и нервов, и последнее особенно хорошо.

Надо тебе заметить, что политэкономия капитализма у меня сдана полностью, вот зарубежная литература – неизвестно что будет. Ну пока ничем не помочь делу. Не знаю, как будет с моим приездом.

На всякий случай, с Новым годом тебя! С Новым годом, в котором обязательно должно повезти, как и положено, на плюс ещё столько, сколько не набрали в этом. Будь здоров, здоров, здоров. И пусть такой же светлой быть твоей душе, дружище!

Шукшин – это было моё любимое чтение. Каждый вечер плакала над ним хорошими слезами, пока читала.

Теперь давай интенсивно переписываться... только уж некогда. Правда, Крюков?

Все тебя цалуем, и Ольга кусает за нос, потому что так и не оставила своей привычки, а теперь уже и вовсе карты в руки. Твоя Н.

Её письма – это отдельная тема. Ни одно из них не было дежурным, проходным. Она всегда находила, о чём рассказать, поделиться глубоким, выношенным, может быть, спорным. Она умела писать. Они с Андреем Сагалаевым как мастера эпистолярия дополняют друг друга. Перечитывая их строки, я слышу их голоса.

Больше года прошло с твоей смерти, когда мы поехали на Урал с Глебом (через три месяца ему стукнет 12). Отправились мы в понедельник 13 августа (обратно стартовали 20-го, а памятную для моего поколения

дату – 21 августа, танки в Праге – провели в поезде).

Позволю самоцитирование. Написал об этом Феде Госпорьяну, товарищу давних лет. 11 сентября 2012. «...Год назад умерла моя первая жена Наташа. Я вас знакомил: черноволосая и черноглазая умница. Расстались мы много лет назад довольно нелепо, без всяких бытовых измен и тому подобного. Просто решили, что чувство меж нами потеряло остроту, именно так, верные гуманитарии. Уехала она на родину, у меня здесь уже сын 12-и лет от новой жены, с которой живём в согласии и теплоте. В большой печали провёл я нынче уральские дни, стоял у её могилы, понимая, что приблизил её уход. Больше она замуж не выходила, и не имела к тому желания, как рассказывала дочь...».

Когда-то в старину, она с неподражаемой своей лёгкой улыбкой читала мне Бёрнса:

*Ты меня оставил, Джеми,
Ты меня оставил,
Навсегда оставил, Джеми,
Навсегда оставил.
Ты шутил со мною, милый,
Ты со мной лукавил –
Клялся помнить до могилы,
А потом оставил, Джеми,
А потом оставил!*

И я улыбался в ответ. Эти трогательные жалобы молодой обманутой девушки были не про нас. И вот недавно открыл книгу, прочёл... Вот оно как оказалось.

... Достал кассету, записанную Наташей в одну из поездок на Урал уже с Глебом. На самой кассете её рукой «Мне так хорошо с тобой» – название одной из вещей. А на картонке-вкладыше вдруг увидел раньше не замеченные строки карандашом:

*Мы спим, и наше тело –
это якорь,
душой заброшенный
в подводный сумрак жизни.*

Это тоже, как и в начале моих заметок, Хименес в переводе Гелескула. Такой вот привет через годы. Грустно, но какая лёгкая грусть, будто голос её услышал или ласковым ветерком откуда-то повеяло. Это ведь так было в старину, в первые месяцы нашей любви, когда повсюду виделось, мерещилось, ощущалось её присутствие – то вдруг в порыве ветра долетал голос, то вдруг чудилось прикосновение ладошки на затылке.

Меня всегда занимало, о чём ты молчишь. Всё хотелось узнать, спросить...

2012

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

ПРОЛОГ

Несколько изданий выдержала на моём веку книга, составленная Ефимом Семёновичем Лихтенштейном «Слово о книге: Афоризмы, изречения, литературные цитаты». Мы – закоренелые читатели – любили перелистывать её страницы, обнаруживая суждения литераторов и просто умных людей из разных времён и народов. Это были наши единовёрцы.

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.

Ф.Бэкон

Как много людей, которые по прочтении иной хорошей книги открывали новую эру своей жизни.

Г. Торо

Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души.

Цицерон

Заметки о нашем времени

Книги – лучшие друзья. К ним можно обращаться во все трудные минуты жизни. Они никогда не изменят.

А. Доде

Дано печатному слову пребыть не только во времени, но и над временем.

Н. Лесков

Смотреть на книги – и то уже счастье.

М. Лемб

Книги делятся на два вида: книги на час и книги навсегда.

Д. Рёскин

Я вижу, что вы собрали книги, но и книги собрали вас.

В. Шкловский

Книжная премудрость подобна есть солнечной светлости.

Из старинной азбуки

Всем хорошим во мне я обязан книгам.

М. Горький

Книги – лучшие товарищи старости, в то же время лучшие руководители юности.

С. Смайлс

Книга – чистейшая сущность человеческой души.

Т. Карлейль

Часть духовного багажа мы получаем в виде готовых установок и стандартов. Но жизнь многообразнее, и нельзя учесть все случаи, требующие нашей моральной оценки. Собственного опыта и своих умозаключений порой не хватает. На что же тогда полагаться? На книгу. Книга становится универсальным помощником. Новая для нас проблема на страницах книги предстанет применимой к тем обыденным жизненным ситуациям, в которых мы оказались. И книга поможет принять решение.

Не каждое прочитанное слово станет воспринятым. Оно должно впитаться «нутром», и тогда только будет материалом для выстраивания личности.

* * *

В первом классе моя первая учительница Мария Никитична Колбина привела нас в детскую районную библиотеку. Нам показали полку, которой могут пользоваться первоклассники. Помню, я откровенно расстроился: то, что располагалось там, было мною уже усвоено. Добрая библиотечка увидела моё уныние и поспешила утешить: «Ты, Вова, можешь брать книги со всех этих школьных стеллажей». Ровесники поглядели уважительно, а я пережил минуты гордости, в общем-то, редкие в моей жизни.

Читать я выучился рано. Не как вундеркинды, но с пяти читал, с шести брал книжки в нашей сельской библиотеке.

Из прочитанных самых первых историй больше всего тронула меня «Тёма и Жучка» (фрагмент «Детства Тёмы» Н. Гарина-Михайловского). Тогда,

в начальной школе, начала собираться моя библиотека из купленных и подаренных книг. Дарили мне мама, тётя Ксения и Мария Никитична. Дарили и «правильные» книги и просто хорошую литературу. С той поры у меня сохранились «Партизан Лёня Голиков», «Тимур и его команда», «Маугли», «Дети капитана Гранта». В той северной деревне Пудино я окончил три класса, жил у тётки и бабушки, а потом меня всё-таки родители затребовали к себе.

Они окопались в Дачном Городке под Томском. Но ещё до войны поселок стали называть Тимирязево, когда здесь учредилась база учебно-опытного лесхоза. Здесь я окончил среднюю школу. За это время сделанная по заказу отца этажерка заполнилась книгами. У меня появились первые собрания сочинений – Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Конан-Дойль. (Тут же, попутно. В гостях у Фёдоровых, чудесных родственников, я с упоением читал «Записки о Шерлоке Холмсе». Уезжая, попросил подарить. С извинениями мне отказали. А потом всё-таки отправили с племянником моей матери. Саня приехал с вокзала на такси и забыл книгу в машине. Как я переживал! Как жаль было книжку, которой по милости ротозея лишилась моя самоотверженная родня и которую я потерял, не обретя).

Я завидовал книжному собранию дома Цехановских. Родители моего одноклассника были первые подлинные интеллигенты в моей жизни. Отец – потомственный инженер, а мама вообще из семьи священника. В их семейной библиотеке я том

за томом прочёл собрание Джека Лондона. Он был впитан душой и сердцем. Думаю, книги Лондона воспитали во мне любовь к животным, заложили основы порядочности, рассказали, что такое дружба и любовь. Среди прочего на всю жизнь запомнился мне рассказ «Безумие Джона Харнеда», где герой, наблюдая испанскую корриду, сходит с ума и начинает палить в тореадоров. Я был целиком с ним, и любимый Хемингуэй не изменил моего отношения к этому безобразию. Завершая здесь тему корриды, скажу, что большое уважение вызвал во мне мэр Москвы Юрий Лужков, отклонивший проведение такой забавы в столице (его просила об этом одна амазонка русского происхождения, которая сражала быков в Испании).

В школе я прочёл такую историю. За два дня до смерти Ленина Крупская, желая укрепить мужество Владимира Ильича, прочитала ему рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни».

«Сильная очень вещь, – вспоминает она об этом чтении. – Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду больной человек. Слабеют у него силы, он не идёт, а ползёт, а рядом с ним ползёт тоже умирающий от голода волк, идёт между ними борьба, человек побеждает, – полумёртвый, полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ понравился чрезвычайно. На другой день просил читать рассказы Лондона дальше... Следующий рассказ попал совершенно другого типа – пропитанный буржуазной моралью: какой-то ка-

питан обещал владельцу корабля, гружённого хлебом, выгодно сбыть его; он жертвует жизнью, чтобы только сдержать свое слово. Засмеялся Ильич и махнул рукой».

Я с ужасом подумал, а начни Надежда Константиновна чтение с другого рассказа! Значит, Ильич рассмеялся бы раньше, и кто скажет, узнали бы мы тогда Джека Лондона вообще?!

Чтение – это всегда интимный процесс, акт личного действия. Когда он становится навязанным или публичным, то неизбежно вызывает отторжение. Каждый из нас может легко подтвердить это, вспомнив школьный курс литературы. Но моей учительнице в старших классах Валентине Ивановне Внуковской я благодарен за открытие таких имён, тогда далёких и чуждых программе, как Есенин, Ахматова, Окуджава.

Большую часть лета я проводил у тёти в райцентре Мельниково (в обиходе – Шегарка) за Обью. Там был книжный магазин, а я был его верным посетителем. К сожалению, в те годы рядом со мной не оказалось знатока-книголюба. Помню радостное чувство обретения, когда схватил с полки «Антимиры» Вознесенского, когда сердце отозвалось на книжицу в суперобложке: «Евгений Евтушенко. Братская ГЭС». Я тогда переживал увлечение эстрадниками-шестидесятниками. Но не умел ещё сам открыть для себя автора, который стал бы своим, любимым. Вот так несколько лет спустя, упиваясь Сент-Экзюпери, взятым на прочтение у товарища, я вспом-

нил, что видел эту книгу с самолётом в солнечных лучах на обложке в шегарском магазине и не купил.

Однако в ту пору я услышал о Ремарке, это имя вспоминали герои повестей из журнала «Юность». И вот на книжной распродаже, как сейчас помню, в парке того самого райцентра, я купил «Чёрный обелиск» и, прочтя, остался в некотором недоумении. Конечно, начать надо было с «Трёх товарищей». Эта книга непременно должна была занять место в моём книжном собрании! Несколько лет неустанных поисков кончились ничем. А нашёл я то самое издание в серии «Зарубежный роман XX века» в... книжном шкафу моей лёли в Барнауле, где оказался на каникулах. Там же рядом стоял роман Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» о Винсенте Ван Гогe. Эту книгу читал старший брат моего товарища Толи Толстоброва Вадим и говорил мне: «Какие люди жили!». Каникулы закончились, я уехал домой, и только в письме поделился своими переживаниями. Вскоре я получил бандероль с двумя книгами. Лёля меня поняла, она меня любила.

А как читали на первом-втором курсах Ремарка! «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка», «Жизнь взаимы»... Как нравились нам, по остроумной характеристике одного критика, «неунывающие пессимисты» Ремарка. Как они хорошо разговаривали, эти благородные люди, как они достойно жили в лживом недостойном мире. И в те годы, и позже писали о «красивости», облегчённости, поверхностности Ремарка, о том, что не надо его принимать чересчур всерьёз. Но

с той поры я не читал лучшей истории о дружбе, чем в «Трёх товарищах» (к слову, я бы поставил рядом и «Трёх мушкетёров»). Разве не хотелось нам таких доверительных, простых и естественных отношений с опорой на бесспорные ценности, на человеческое и светлое.

Читали все. Но прошло два-три года, и многие читатели, соседи по общежитию как бы прозрели. Жизнь по Ремарку не построишь, а надо жить дальше и как-то встраиваться в систему, в предлагаемые обстоятельства. Будущие карьеристы, комсомольские секретари, чекисты приняли другие установки. Или, лучше сказать, правила игры? Что же, не чувствовали они весь этот ложный комсомольский пафос, всю демагогию про формирование активной жизненной позиции молодого человека? Риторический вопрос.

В студенчестве я вошёл в круг таких же больных книгой. Я не был библиофилом, и слава Богу – это потребовало бы серьёзных затрат, а значит, и переживаний за свою несостоятельность, ущербность. Мы охотились за новинками. По цене они были нам под силу. Но их тоже нужно было достать. У меня были неплохие тылы – в родном посёлке к этому времени появился книжный магазин. Он расположился в большом старом бревенчатом доме – там, где улица Советская прерывалась дорогой, ведущей к посёлку Нижний Склад. Не случайно главное помещение называлось «Чайная», а скромное слева – узкая длинная комната – было отдано книгам. Правда,

с отдельным крыльцом и тяжёлой высокой дверью. Его хозяйка, старушка Ксения Петровна, была ко мне благосклонна. Я не покушался на «Щит и меч», полководческие мемуары. Я выбирал зарубежную фантастику, не востребованную поселковой номенклатурой: Саймак, Шекли и нежно любимый Брэдбери.

Там же купил я книгу Сэлинджера с мальчиком на обложке. (К слову, благодаря мальчику – фрагменту картины Эндрю Уайета – я позднее познакомился с творчеством этого художника). Но главное, конечно, история про Холдена Колфилда и рассказы. Как долго длилось очарование, как неожиданно узнавал я свои мысли и переживания – захватывало дух. Я и сейчас с волнением перечитываю эти страницы, переживаю узнавание, но, понятно, того юношеского смятения духа не повторить.

Таким же открытием стали рассказы Юрия Казакова. Летом, после первого курса, я нашёл его книжку в библиотеке санатория, где работала мама. Не помню, кто из моих старших товарищей присоветовал это. На чёрной обложке серебряные деревья и серебром же название: «Двое в декабре». Пожалуй, не смогу сполна передать, что пережил, читая эту прозу. Он заставил вслушиваться в звуки и нюхиваться в запахи простиравшихся за моим домом бора, болота, прибрежных трав. До того я не ведал, что это можно так тонко и точно выразить словом (открытие Бунина было еще впереди). А какие люди жили на этих страницах – непростые, ранимые, честные и чистые. И хотелось им подражать, открывать

мир, жить той же полной мерой, дружить и любить.

Я принёс возвратить книгу, говорил что-то вос-торженно-благодарное, и пожилая библиотечка сказала: «Хочешь, оставь себе». Потом, много лет спустя, я купил большой том Казакова «Осень в дубовых лесах». Сегодня они стоят рядом.

Тем же летом отец пристроил меня на погрузку баржи для северного городка Стрежевой. Я набрал пацанов из абитуры, мы весело работали. Никто не гнал, баржа грузилась неспешно: то привезут вино в железных бочках, то водку, то яблоки в стружках, то трёхлитровые банки сока в ящиках. Наконец под занавес доставили книги – подарок библиотеки Дома партийного просвещения библиотеке молодого города нефтяников. Книги шли навалом, никаких описей и подотчётов. Все мы не преминули чем-то поживиться, я взял пушкинское собрание 30-х годов, некоторые академические издания той же поры и книгу Луи Селина «Путешествие на край ночи». Селин мне не понравился, но очень заинтересовал сокурсника-историка Борю Соколова, может быть, из тех же библиофильских соображений – было понятно, что переиздавать сомнительного француза не будут. Боря не просто выманил у меня Селина, он выменял его, и я получил взамен двухтомник Кнута Гамсуна. Вот это было чтение! Какие странные и гордые мужчины, какие чистые гордые девушки! Я был очарован этими людьми, этой природой – участницей действия. Полюбил Скандинавию, и с той поры не прошли мечты увидеть её наяву.

Летом 1968-го мы жили в настоящей красноярской тайге, из глубин которой сплывали на плоту по своенравной реке Казыр. Это отдельная история. Впечатлений на всю жизнь! И после возвращения из тайги я ещё задержался у друга Володи Лосева в его посёлке Курагино меж Абаканом и Тайшетом. Конечно, мы пошли и в книжный магазин. Ах, эти сельские магазины: прохлада среди летней жары, чистота свежeweымытого пола, малолюдство и тишина. Мы прошлись по полкам и выбрали для себя «Зарубежную поэзию в русских переводах» – изумительный том в суперобложке. Вот он на ближней моей полке, не на один раз перечитанный. В нём среди переводчиков есть даже Николай Гумилёв (запретный в ту пору поэт).

Довольно поздно, в 28 лет, я прочёл «Анну Каренину» (в университете – пробежал). Дело было в селе Тегульдeт. Работал я техником на телетрансляционной установке. Станция трудилась в автоматическом режиме, свободного времени было много. Читал я весной, когда прирастали дни и прибывало тепло. Среди дня можно было читать и на улице, укpывшись в заветрие. Пахла оттаивающая земля. Во дворе дома (одной половиной было жильё, другой – работа) росли берёзы и начинали разворачиваться нежные их листочки. Наверное, поэтому наиболее сильное впечатление произвели левинские страницы. И всё остальное – тоже.

Взяв в руки том Бунина, всегда вспоминаю врача Тамару Ивановну Акимочкину. Где она теперь, жива

ли? Их семья переехала куда-то на Дальний Восток. А тогда, давно, в конце 75-го, я заболел желтухой – гепатитом и был помещён в отделение родной поселковой больницы. Тамара Ивановна была моим лечащим врачом. А какое тут лечение? Режим и покой. Потому предполагались небольшие успокоительные беседы. И вот я рассказывал, как и за что люблю бунинскую прозу. Сетовал, что был совсем юн, когда приложением к журналу «Огонёк» прошло собрание его сочинений.

Эти две или даже три больничные недели были просто подарком судьбы, потому что работал я тогда в постылой районной газете. И вот при выписке Тамара Ивановна вручила мне девятитомник Бунина. Я совершенно обалдел, пережил подлинное счастье, не посмел даже дежурно отказываться от дорогого подарка. С той поры мы поддерживали дружеские отношения, я бывал у них в доме, знал мужа, сына и дочь. И доставал, приносил какие-то интересные им книги.

Стихи Бунина мне поначалу прочёл наизусть соратник и друг Володя Лосев. Потом студент старшего курса Гриша Воробьев подсказал прочесть «Лёгкое дыхание». Иван Алексеевич на какое-то время вытеснил всех – русских, иноземных. Потом, как это бывает, наваждение прошло, он занял своё место среди самых близких и дорогих.

Однажды мы шли мелкоколесьем, сырым после недавнего краткого дождя. Потому и сырость была лёгкая, приятная. Я дышал ею, воспринимал обонянием. Но помню: вечером, вспоминая, подумал, что уже и

не различишь, где это было моё, взятое моим нюхом, а где вспоминалось прочитанное у Бунина, считанное у Казакова. Но ведь это здорово, когда слова их обратились в запахи и ощущения. Разве не так?

Рассказывая о книгах, невольно рассказываешь о людях. Книги не приносил мне какой-нибудь безымянный курьер. Воистину они имеют свою судьбу. Отец познакомил меня с товароведом по книге Валентиной Ивановной Сваровской. Поскольку он уже не работал в этом райпотребсоюзе, то есть не был своим или нужным человеком, я тоже оставался для неё эпизодический фигурой. Но кое-что мне перепадало. А однажды произошёл феноменальный случай. Я как-то заглянул в её кабинет напомнить о себе и встретил там даму бальзаковского возраста, в меру пышнотелую, очень живую. Они прервали разговор, и я, ретируясь, намекнул, что вышел Мандельштам в «Библиотеке поэта».

И вдруг пышнотелая женщина спросила:

– А что, вы так уж его любите, этого Мандельштама?

Я восторженно молчал, как же его не любить, и для убедительности прочёл общепонятное «Звук острый и глухой...».

– Это журналист, сын моего давнего знакомого, Владимир, – ввернула Валентина Ивановна. – А это Лилия Михайловна.

Я отвесил поклон.

– Вы позвоните мне как-нибудь на неделе, – обронила Лилия Михайловна.

Спрашивая телефон у Валентины Ивановны, я

узнал, что встреченная мной дама – тоже товаровед по книге, но большего масштаба – из областного потребительского союза.

Я позвонил и получил приглашение зайти.

Лилия Михайловна встала из-за своего стола, протянула мне синий том.

– Владейте на здоровье, – сказала она. – Редкая книга. На область дали десяток экземпляров. Я пробовала читать – не моё.

Она и сдачу отсчитала, не давая мне уйти. Я горячо благодарил, тронутый её искренностью. Но почему попал в число избранных счастливицев, так и не понял.

Зато Лилию Михайловну Борисову вспоминаю с неизменной признательностью.

А затем был период в моей жизни, когда знакомство с книгопродавцами перешло в близкую и долговую дружбу.

В райком партии, где располагалась и редакция нашей газеты, приезжала книжная автолавка, чтобы поторговать после каких-либо массовых мероприятий. Продавцы – мужчина-водитель и женщина – оба моего возраста, то есть тогда достаточно молодые. Они раскладывали книги на поставленные впритык два стола и ждали окончания семинара или пленума. И вот я повадился что-то высматривать для себя на этом раскладе. Продавать «до звонка» им было запрещено, и меня не раз отлучал от столов партиец по фамилии Казак, следивший за порядком. Я уходил, но, играя в непонятки, снова возвращался. Порой что-то ухватывал, когда партактив

устремлялся к столам. В конце концов водитель меня заметил и как-то спросил: «Интересуешься, вижу, книгой?». Меня несколько задело его «тыканье», но подтвердил: да, интересуюсь. «Приходи послезавтра в Дом офицеров, поможешь нам торговать, найдёшь что-нибудь для себя». Я пришёл. Автолавка стояла во дворе. Надо было таскать коробки с книгами в фойе на прилавок. Мне позволено было выбрать, что пожелаешь. Глаза разбегались, а надо было соизмеряться с финансовыми возможностями. Не помню, что я тогда отыскал, – вот что значит волнение! Одну книгу помню: «Библейские сказания» поляка Косидовского.

Мы познакомились. Его звали Вилли, её – Лида. Как они меня пригласили в гости – тоже не помню. Но побывал, мы выпили с Вилли Робертовичем. Потом долгие годы дружили семьями. Цейзеры оказались славными людьми. И не было в наших отношениях корысти, но библиотека моя наполнилась после продаж на каких-то мероприятиях, после застолий в их частном доме на окраине Томска. Через них я обрёл даже такое уникальное издание как двухтомник «Мифы народов мира». Порой мы слишком закладывали с Вилли, и нам доставалось от Лиды, а мне от Наташи, но это были, что называется, детали. В меру сил я помог однажды в большой стройке во дворе, мы парились в их бане, оставались ночевать...

Родители Вилли перебрались в Германию, в середине 80-х и он получил гостевой вызов. Мы встретились после его возвращения, он рассказывал спокойно, почти без эмоций о том, где живут, как их здоровье. Потом, когда мы вышли на крыльцо, ска-

зал мне восторженным полушёпотом: «Володя, как в сказке побывал». Сказочные подробности я услышал позже, тоже на вольном воздухе. Вилли боялся прослушки. И не без оснований. Тут, перед отъездом, чувак из КГБ беседовал с ним основательно. А вскоре подули ветерки перемен, потом окрепли, и мои друзья засобирались в дорогу. Наверное, они оказались в первой волне, которая понесла наших людей на Запад.



Вилли и Лида Цейзеры.

(Можно добавить, что я исхитрился уже дважды побывать в гостях в их двухэтажном германском особняке, где был по-старому радушно принят).

Да, рассказывая о книгах, невольно вспоминаешь о людях. Воистину каждая книга имеет свою судьбу. Я горжусь, что в моей библиотеке есть книги с автографами В. Астафьева, А. Солженицына, А. Кушнера, Б. Окуджавы, А. Варламова, Ю. Карякина. Какие хорошие надписи оставили на своих книжках основательница ячейки нашего Союза российских писателей Руфь Мееровна Тамарина, мать моего товарища, автор прославленной «Мачехи» Мария Леонтьевна Халфина, моя университетская настав-

ница, ставшая замечательным прозаиком Галина Ивановна Климовская.

Этот красивый томик «Японские трёхстишия» достала из дорожной сумки Наташа, вернувшись из поездки на родину. Этот редкий довоенный сборник Фёдора Сологуба с припиской «в память долгой дружбы» подарила мама моего одноклассника и друга Володи Цехановского Любовь Зосимовна. Вот книги от Толика Перервенко, которые он, перед тем как подарить, ласково поглаживал по переплёту и обложке. Вот трёхтомник «Записки об Анне Ахматовой» Л. Чуковской, его скромно положил мне на стол Андрей Сагалаев. Вот «Устами Буниных» с изящной сопроводительной надписью Бориса Николаевича Пойзнера. Вот привезённые из столицы (где он теперь окопался) Стасиком Божко книги Довлатова, Бродского, С. Волкова. Нет, пожалуй, нужно немедленно остановиться, потому что положительно невозможно назвать всех и описать все места, в которых произошло обретение любимых и дорогих книг.

А ещё был самиздат!

Прежде я услышал с магнитофона Галича:

«Эрика» берёт четыре копии.

Вот и всё, и этого достаточно.

Вскоре увидел и прикоснулся к тому, о чём спето. Полуслепые копии стихов Цветаевой, Горбаневской, Гумилёва, «Реквием» Ахматовой, что-то ещё.

Ещё существовала проза, так же отшлёпанная на машинке тем же известным тиражом. Подвижниче-

ство, да еще и подсудное. И тем не менее: с одной из четырёх копий снималось ещё четыре и так далее...

А потом появились фотокопии, снятые с зарубежных изданий. Произведено-то у нас, значит, самиздат.

У «самиздата» глубокие корни, давняя традиция. Стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева, ходившие в списках, – это ведь тоже он. И чтение, и распространение их не поощрялось, даже порицалось. Но не преследовалось уголовно, как в XX веке с удивительной жестокостью, со злобной нетерпимостью к иным мыслям, иным суждениям. Это уголовная статья 190' про «систематическое распространение измышлений, порочащих государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания». Или статья 70: «агитация и пропаганда, проводимая в целях подрыва...»...

Но самостоятельная позиция изготовителей сопрягались с их свободомыслием. «Имею право на прочтение », – так говорили они инквизиторам и охранителям «правильного» курса.

Сегодня трудно молодым людям объяснить это воинственное, оголтелое неприятие инакомыслия. Когда я, работая в школе зоны строго режима, поднимая вес и силу слова, сказал, что были книги, за которые можно было схлопотать срок и попасть сюда, в их компанию, многие засмеялись – не поверили.

Как настойчиво, тупо, иногда более-менее изобретательно газетные статьи клеймили создателей

«неправильных» книг. Нам доказывали, что они – чужие, хуже того – враги общества. Власть ломала этих творцов через колено – кого в зону, кого насильно за пределы страны. Но именно эти нечеловеческие усилия в борьбе с «идеологическими диверсантами» и породили и укрепили самиздат!

Рисковые люди провозили запретные томики из-за рубежа. Рисковые подвижники переснимали и ножами печатали. На фотобумаге любая книжка средних размеров вырастала в этакий Эверест. «Арипелаг ГУЛаг» едва уместился в типовую спортивную сумку.

Какой переворот в умах совершала эта литература! Мне понятно усердие ловцов и искоренителей самиздата. Отравленные правдой, мы уже не хотели пасть в стаде. Далеко не каждый дорастал до активного протеста, но жить не по лжи мы могли себе позволить.

Разумеется, были и другие потребители запретных книг. Околокультурная чиновница сказала мне с гордостью, что благодаря папе она имела доступ к этой литературе, читала её. Но это не помешало ей жить и работать по заветам вождей, карабкаться по карьерной лестнице. Эти книги не «испортили» её, видимо, было достаточно сильное противоядие. А может быть, проще: это воспринималось забавой, лёгкой фрондой. Чего уж тут искать иные мотивы.

* * *

В недавние годы, когда я был лёгок на подъём и любил путешествовать, мне всегда было интересно, что читают товарищи по вагону. Иногда я узнавал обложку, иногда даже позволял себе посмотреть

текст, когда попутчик выходил в коридор. Если это было не «что-то», то завязывалось вагонное знакомство, мы что-то обсуждали и даже спорили. Сейчас пассажиров с книгами много меньше. Если и читают, то с экрана планшета. И я уже не тот, что мог просто спросить: «Что читаем?». Технический прогресс вытесняет печатные издания из повседневной жизни человека... Электронная «книжка» удобна, это бесспорно. Она легка и компактна. Люди выбирают комфорт. Но в редких нынешних поездках не могу оторвать глаз от попутчика, который перелистывает страницы настоящей книги.

ВРОДЕ ЭПИЛОГА

Знаменитый канадский учёный Маршалл Маклюэн в своей, наверное, самой известной книге «Галактика Гутенберга» (1962) рассказал историю становления человека печатной культуры.

Его много критиковали в советские годы, не знаю, насколько тут замешана идеология. Мне кажется, в академичную картину мира официальной нашей профессуры 60-х-70-х годов не укладывались научные теории, изложенные афористично и парадоксально.

Так вот, в этой своей работе Маршалл Маклюэн предрекает смерть книге, на смену которой приходят электронные СМИ. Но сам он неразрывно связан с типографской культурой и по-своему воспекает её. Даже само его замечательное определение – Галактика Гутенберга – говорит о величии печатной эпохи.

В интернете, год 2011:

Конец эры печатной книги

Гигант интернет-торговли Amazon сообщил, что в его онлайн-магазине Kindle электронные книги по объёму продаж полностью превосходили печатные издания.

Последние, конечно же, не исчезнут совсем. Скорее, они станут особым продуктом: хорошим подарком, предметом интереса коллекционеров, дорогим хобби. Дорогим, потому что по мере дальнейшего распространения электронных книг цены на бумажные аналоги обязательно будут расти: издателям придётся компенсировать выпадение доходов, связанное с относительно низкой стоимостью книг в электронном формате.

Пока ещё преимущество печатной книги неоспоримо в сегменте так называемых coffee table books (фотоальбомов, энциклопедий и книг по искусству большого формата).

Но и здесь ситуация вскоре изменится. Дисплеи мобильных устройств становятся всё больше и совершеннее.

Вымирание печатных книг ускорится

К слаженному хору футурологов, пророчащих скорый конец печатной книги, присоединился ещё один голос. Николас Негропonte, глава MediaLabs, сказал, что печатные книги доживают свои последние годы. По мнению Негропonte, физическая книга мертва.

Он сказал, что понимает, как людям тяжело это принять. Но подумайте о фотоплёнке. Уже в 80-х

годах прошлого века было ясней ясного, что физическая фотоплёнка умрёт, несмотря на то, что компании вроде Kodak отказывались это признать. «Конечно, вы так любите свои библиотеки», – сказал Негропonte. Но он процитировал сообщения о том, что продажи электронных книг недавно превысили продажи книг в твёрдой обложке. «Это уже происходит. Это случится не через 10 лет. Это случится через 5 лет», – сказал он.

Майк Шацкин не так категоричен: «Печатная книга не «умрёт» на нашем веку. И я думаю, что через двадцать лет человек, решивший читать печатную книгу, не будет чем-то немислимым, но наверняка станет считаться «эксцентричным».

ВИКТОР АСТАФЬЕВ В ТОМСКЕ

(Глоток свободы в начале 80-х)

В один из своих томских дней 1993 года А.И. Солженицын побывал у Камня Скорби. Это рядом с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Когда его провожали к машине, какое-то время мы шли рядом. И я сказал Александру Исаевичу, указывая на тусуровские колонны: «Вот в этом



здании в 82-м году ваше имя прозвучало на тысячную аудиторию не в обойме с ругательствами, а совершенно положительно». Александр Исаевич приподнял брови: «И как же это?». Я воспроизвёл то, что будет рассказано ниже. Солженицын от души рассмеялся (я бы даже сказал, расхохотался), с удовольствием повторяя: «Это Виктор Петрович мог! Это он мог!». Жизнь всё расставила по справедливости.

Вечером 3 ноября 1982 года в актовЫй зал Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (так он тогда назывался) на встречу со студентами томских вузов пришёл Виктор Петрович Астафьев. Он поднялся на сцену под аплодисменты полного зала. Поблагодарил за приглашение сотрудников существовавшей тогда межвузовской кафедры этики и эстетики и добавил с лукавой улыбкой: «Меня уже мало куда приглашают, вот, в Новосибирск, скажем, не зовут». Этот лукавый намёк стал понятен часом позже.

Виктор Петрович попросил разрешения общаться с народом, сидя за столом. Когда-то Есенин, заканчивая краткую автобиографию, заметил: «Что касается других сведений, они – в моих стихах». Наверное, и биографию Астафьева можно проследить, читая «Последний поклон», другую его прозу. Потому события своей жизни обозначил он конспективно, остановился на том, как начал писать, кто помогал ему встать на ноги, как определялись его тема, манера. Повествовал он с некоторой грустной интонацией, вообще присущей воспоминаниям.

Затем стал отвечать на записки: во время рассказа их уже передали немало. Эдуард Владимирович Бурмакин, ведущий встречу, расправлял их и укладывал перед писателем.

Были какие-то обычные вопросы и обычные ответы.

Наконец произошло следующее.

Виктор Петрович огласил очередную записку:

– Скажите, кого из современников вы назвали бы великим?

На минуту он задумался, потом оговорился, что выскажет суждение только о людях близкой ему области – литературы.

И высказал:

– На мой взгляд, сегодня в мире два великих писателя: колумбиец Маркес и наш Александр Исаевич Солженицын.

В напряжённой тишине кто-то из зала поднялся и передал ещё одну записку.

Астафьев прочёл:

– А наш профессор говорит, что Солженицын – изменник родины и давно деградировал как писатель.

Виктор Петрович пожал плечами и простодушно заметил:

– Скажите вашему профессору, что он дурак.

Теперь по рядам пробежал ропот, прошло какое-то движение. И ещё записка легла на стол Астафьева. Суть была такова: какой же это великий писатель, где его человеколюбие, если он в своём Вермонте обнёс дом и парк забором и через телекамеру наблюдает, кто пришёл, можно ли пустить.

Виктор Петрович сокрушённо развел руками:

– Эх, мне бы такой забор с телекамерой, а то иногда праздный народец одолевает – спасу нет.

– Но он же покинул родину?! Уехал! – крикнул кто-то из первых рядов.

– А по-моему, – парировал Астафьев, – даже в наших газетах писали, что Александр Исаевич не уехал, а был выслан.

Оппоненты из зала то ли растерялись, то ли были кем-то остановлены, но тема на этом закрылась. Виктор Петрович продолжал отвечать на другие вопросы так же спокойно и свободно, и эта внутренняя свобода на меня, например, оказала и такое воздействие – стало легче дышать.

Замечательно то, что эти «скандальные» пассажи не были самоцелью, Астафьев просто говорил то, что думал. Обо всём. Но это был для той поры нонсенс. Он отказался играть по правилам. Он отказался от солидарности с той «элитой», которая в ответ на известные льготы и привилегии обрабатывала с возможной «искренностью» наши мозги.

В завершение встречи зал проводил гостя долгими аплодисментами.

В коридоре и на лестнице стоял гул от голосов – люди обменивались мнениями. Оказавшийся рядом томский писатель спросил меня : «Ну и как?». Конечно, я сказал что-то восторженное.

Писатель посмотрел на меня мрачно:

– Ну-ну... А я вот не разделяю. Мы с тобой, допустим, это поняли. Но вот так, на всех – однако же слишком. Слишком вызывающе.

И помотал головой укоризненно, будто минуты назад видели мы перед собой тихо помешанного, и оставалось только пожалеть его. Между тем, не помешанный был перед нами, а известный советский автор, обласканный различными званиями, но не подкупленный, оказывается, а подкупаемый. Да только не на того напали!

Программу выступлений Астафьева, объявленную заранее, скомкали и свернули, но именно следующую утреннюю встречу отменять было поздно.

И она состоялась 4 ноября в Доме творческих организаций. Я выпросил на областном радио магнитофон «Репортёр». Можно было уверенно полагать, что никакой передачи не будет, но знакомая журналистка этого не знала, магнитофон дала. Разместился за первым столом, раскрутил шнур микрофона.

Приехал Астафьев. Пробираясь к своему месту сквозь густое скопление людей, он сказал (как помнится мне, с тою, уже знакомой лукавинкой):

– Это всё творческие работники? О, как вас много!

Сопровождающим писателя был секретарь Томского горкома по идеологической работе А. К. Черненко. (Скажу в скобках: через неделю уйдет из жизни тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев, а через год с небольшим – в феврале 1984-го – в эту должность вступит К.У.Черненко, отец нашего функционера). Встречу секретарь вёл строго, жестковато. Однако Астафьев держался так же свободно, говорил столь же определённо на темы, которые не принято было поднимать (о преступности, бомжах), затрагивал вопросы больные, на которые многие закрывали глаза ...

В сентябре 82-го (за два месяца до Астафьева) в Томске прошёл суд над тремя «читателями и распространителями антисоветчины». Суд был открытый, власть показывала свои возможности тем, кто пока ещё сидел отдельно от подсудимых. Незадолго до

этого, в 1980-м, нас – не которую группку – «попинали» с работ за чтение самиздата. Было мерзко, было печально, но «исправляться» не хотелось. Оставалось... ну, собственно, оставаться самим собой. Не бороться, но и не подличать, не поддерживать этих, не заискивать перед ними. Конечно, мне, скажем, помогали имена Сахарова, Солженицына, Буковского, Марченко. Но когда вот так – рядом – живой голос... Сейчас это трудно объяснить, особенно новой публике. Не раз и не пять в «года глухие» я ставил на магнитофон эту запись и мы подзаряжались внутренней свободой нашего соседа-сибиряка.

Летом 1993 года, узнав о том, что готовится новое собрание сочинений В.П. Астафьева, я перепечатал его выступление перед творческими работниками Томска и отправил ему, приписав, что, может быть, оно найдёт место в этом собрании. Ответ пришел через две недели. Истинно астафьевский ответ: «Думаю, в собрание сочинений включать не стоит – оно не для говорливых тем создаётся, тем более что говорильни этой, как я ни упирался, за жизнь накопилось слишком.

Желаю доброго здоровья и дел по душе. В. Астафьев, село Овсянка».

Об астафьевских выступлениях я написал в городской газете в 1995-м, а свою запись обнародовал на страницах ведомственного издания «Вестник Томского университета» в январе 1998 года.

В.П. Астафьев

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ТВОРЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ТОМСКА

В 45-м году я женился, совершил такой поступок, который Богом предопределён. Было мне двадцать лет, жене — двадцать лет. В 45-м году после госпиталя я женился, жена оказалась с Урала, ехать мне в Сибирь в общем-то некуда было, это сейчас вы — хотя бы часть из вас — рады меня видеть. По моему, в 45-м году никто бы не обрадовался и никто бы не заметил, что я приехал, поэтому поехали на родину жены, и я 24 года прожил на Урале. Из них 19 — самые молодые годы, самые трудные — были прожиты в городе Чусовом на Урале, городишке маленьком, дымном, рабочем, тёмном. Там родились дети и выросли, там остались молодые годы, и там я переживал всё, что наш дорогой генералиссимус и наши дорогие маршалы предоставили нам: возможность после войны или погибнуть или выжить. Мы с женой выжили. Многие погибли в этой страшной борьбе с нуждой, выброшенные, по существу, на помойку, забытые всеми. Через 20 лет о нас вспомнили, что есть инвалиды, те, кто воевал. И дали нам медали в честь 20-летия и разрешили написать в сборниках о том, что мы были.

Там с женой мы похоронили первого ребёнка, потому что его кормить нечем было. Там прожили мы и на улице, и в голоде, и в холоде, но выстояли. Жена у меня тоже пиущий человек, очень хороший человек, жизнестойкий, из рабочей семьи. Их было в семье 9 человек, отец был сцепщик вагонов. В общем,

крепкая оказалась кость, и мы всё-таки эту дорогую действительность как-то переломили.

18 лет в Чусовом, и после окончания Высших литературных курсов несколько лет в Перми, и 11 лет в Вологде я прожил и наконец понял, что любить родину, любить несколько болезненно, притчевато, как я люблю, издалека хорошо, а ближе ещё лучше, и на старости лет нужно быть дома, доживать свои дни дома. И, может быть, меня в этом убедила истовая какая-то любовь и привязанность к земле вологжан-литераторов. Сама по себе вологодская земля, она хороша на картинках, открытках, в кино. На самом деле это болотистая, ольховая, очень пустынная земля. И тем не менее ребята её так умеют воспевать, что я порой поражался, как из этого, почти убогого, пейзажа высекается такая прекрасная панорама, такое слово, как у Василия Ивановича Белова, Ольги Фокиной, Коли Рубцова, Саши Романова, Вити Коротаева ... И я понял, что всегда завидовал им, когда сидел с ними и меня уже называли вологжанином. Никогда я себя не чувствовал вологжанином, конечно. Принадлежность к своей земле — это ещё, кроме всего прочего, и огромное счастье какое-то.

Ну вот, три года уже как я сибиряк, в родном селе у меня есть изба, в Академгородке есть квартира. Со мной жена. И дети, и внуки, к сожалению, остались в Вологде. Сын у меня работает в реставрационных мастерских древнего искусства. Образовались такие мастерские по реставрации икон и по учёту ценностей, которые находятся у нас в недобитых церквях, недоразорённых. Они совместно, коллективом вскрыли из-под записей такую иконку в полстола.

Там какой-то святой изображён, я, как всякий чалдон, очень слабо в этом разбираюсь. Во всяком случае, сейчас составлен паспорт, и эта икона стоит 11 с чем-то миллионов. Поэтому сын и не мог со мной поехать.

А мы с женой в Красноярске, сибиряками стали. У меня ощущение такое, что я никуда и не уезжал, да, может, и сказывается, что я каждое лето, иногда не по разу, а если кто-нибудь помрёт, то и по два раза приезжал в Сибирь, или свадьба какая ... И какой-то отторженности большой я не чувствовал. Потом, я всё время писал про Сибирь. Был такой совершенно чудный человек — мне везло на них — Борис Никандрович Назаровский, он родом омич, потом в силу разных обстоятельств попал в Пермь. Там всю жизнь прожил, был в друзьях с Каменским, Гайдаром, их там целая хартия была, потом стал главным редактором издательства. Я как раз начинал писать, что-то там попытался по молодости лет, — квасной, местный патриотизм же, он паче гордости. Живёшь в Вологде — каждый читатель спрашивает: когда вы будете писать о вологжанах? Живёшь на Урале, вроде уральскую картошку жрёшь, а пишешь про Сибирь — тоже нехорошо. Вот я пытался писать про уральцев, на уральском материале. И Борис Никандрыч мне сказал: «Виктор Петрович, миленький ты мой, не надо, не делай ты этого, не трать своих усилий, не того ты склада человек. У тебя все уральцы, которых ты тут изображаешь, всё равно думают и говорят по-сибирски». Совет был вовремя сделан, и как-то я, в общем, на этом и остановился. Пусть земля пухом будет этому человеку, благодаря которому я не растратил твор-

ческой энергии на пустяки, на потрафление начальству. Они очень любят, чтоб писали про стахановцев. Часто очень путают вообще профессию писателя с журналистикой, вообще часто не разграничивают их.

Таким образом как-то мне удалось, живя на Урале и в Вологде, сохранить приверженность и преданность родной земле. Но как Пушкин говорил, всё ж к родимому пределу... После «Царь-рыбы» — книги очень для меня чудной и сложной, совершенно для меня неожиданно получившей такой резонанс... Она мне просто надоела, мне хотелось её поскорее издать и избавиться от неё. Книги, как и судьбы человеческие, они тоже каждая по отдельности, ни одна книга так трудно не писалась, как «Царь-рыба». Конечно, какой-то центральный замысел у меня был. Может быть, та мысль, которая занимает многих и подспудно занимала меня. Двадцатый век — период активной урбанизации, в тридцатые годы наши комсомолыцы с факелами бегали, кричали, что сейчас все объединятся, пойдут на фабрики и станут счастливые. И когда мы сбежались в города, почему человечество постигло такое одиночество? Вопрос, по-моему, заставший врасплох человеческое общество, и наше общество, в частности, поскольку мы считали всегда, что мы общество трудовое, прогрессивное. Мы, собственно, ради этого революцию делали, чтобы объединиться в дружный коллектив. И вдруг почувствовалось какое-то разобщение, я бы сказал, даже враждебность. Вопросы сложные, вопросы, которые не могут не задевать думающего человека, и в какой-то мере занимают они меня. Те, кто трактуют «Царь-рыбу» как экологическое произведение, очень заблуждаются,

это поверхностное прочтение книги. Я не стал бы писать о том, как браконьеры бегают за егерями, егеря за браконьерами. Мне хотелось написать книгу и поставить вопрос: почему в этом мире человек так одинок? Кто внимательно читал книгу, поймёт, что вся она пронизана этой мыслью.

Случилось так, что «Царь-рыба» шла в трёх номерах «Нашего современника». Первый номер прошёл ничего, второй пошёл с зацепками, а я в больнице лежал, началась правка по телефону. Прохождение очень сложное, вымотавшее последние силы и нервы, и когда, наконец, её напечатали, я сказал: «Слава тебе, Господи, я этим делом больше заниматься не буду. Не буду больше писать вообще». Бывает такое настроение. Но поскольку есть такая совершенно неизлечимая болезнь — графомания, то, конечно, через какое-то время я снова сел за стол и заполнил паузу тем, что написал две пьесы, поучаствовал в съёмках фильмов и как-то восстановился, воспрянул.

Я никогда не веду дневников и записных книжек, делаю лишь наброски, зарисовки, и это где-то там в папках лежит. И постепенно накопилась книга. В 72-м я издавал её в «Советском писателе», она называлась «Затеси», и сейчас переиздал её в Красноярске под тем же названием, но тогда затесей было 34, сейчас их 104. Это даёт возможность как-то выговориться, поразмышлять.

Я работаю над новым современным романом, небольшим. И мне потребовалось в прошлом году сходить в вытрезвители, тюрьмы, лагеря. И побывать в так называемом бичёвнике. Наверное, в Томске он есть. Я так понимаю, что в каждом уважающем себя

городе такое заведение есть. Это тюрьма для бродяг. Правда, она у нас называется как-то сложно, что-то пересыльный пункт для чего-то... Ну, это у нас умеют. У нас целые отделы сидят и думают над этим. Как замаскировать — не называть пьяницу пьяницей, вора — вором, а как-нибудь пообтекаемей. Тюрьма для бродяг — это при царе называлось. Откровенный у нас был царь, дурак. Там по 18 человек сидит в камере молодых людей. Зрелище невыносимое. Им предлагается всё — завтра выйти, пойти на любое предприятие. Везде в Сибири рабочих рук не хватает. Нет, им не нужно это. А ведь они все в школе учились, состояли в комсомоле, между прочим, читали «Как закалялась сталь» и «Молодую гвардию». И вот они сидят в этом бичёвнике. Меня поражает, как можно бросить свою жизнь псу под хвост? И в то же время мне начальник экспедиции геологической рассказывал потрясающий случай. В Таймырской экспедиции Красноярского края шофёр ехал. Спустило колесо. Обычная история. Он приподнял домкратом машину, сменил колесо, и, когда убирал домкрат, ему придавило руку. Было пятьдесят градусов мороза. У него было сроку 15–20 минут, чтоб не замёрзнуть. Он зубами перегрыз себе руку, перевязал себя и доехал. И когда я смотрел на этих, в бичёвнике, спрашивал их: «Зачем вы здесь? Что вы тут делаете?», то они сразу претензии, что, мол, нас кормят плохо, медицинское обслуживание недостаточное. Все они больные: почки там, печень ... Все пьют гадость, какую попало. А я никак не мог забыть этого человека, который, чтобы выжить, в течение 15 минут изорвал своё собственное тело, захлёбываясь кровью. И вот эти крайности

уже не оставляют меня. Понять полюсы в характере человека, постичь его душу ... Я не знаю, насколько мне это удастся, но такая задача сейчас стоит перед мной в этом небольшом романе. Главный герой — милиционер, которому перебили всё ноги и руки на этой службе великой.

И в это же время я работал над другой книгой. У меня был друг Александр Николаевич Макаров, большой и серьёзный критик. У меня было 50 его писем. Я жил в Перми, и он очень часто мне писал. Вот так случается у нашего брата-литератора, что полон дом дармоедов, а поговорить не с кем. И вот он вцепился в меня — молодого, жадного до общения парня. Познакомились мы на высших литературных курсах, и он мне писал письма, иногда очень большие, до 20 страниц. И когда я перечитал их, я понял, что эти письма не столько мне, сколько прорастают в нашу современность. И мне показалось интересным, чтобы эти письма знал не только я ...

Меня потрясает благодушие, бестревожность, какая-то способность забываться. Мне кажется, что у нас уже целое поколение, если не два, воспринимают наши рассказы о войне, как какую-то сказку про Иванушку-дурачка. Быть может, мы недостаточно талантливы, быть может, мы недостаточно хорошо об этом пишем, может, есть силы, которые сдерживают нас, чтобы мы не до конца вскрывали весь ужас войны этой. И я вас очень прошу не пропустить: появится в этом году в журнале «Сибирские огни» роман под названием «Джонни получил винтовку» американца Трамбо, переведённый почти на все языки мира. Я рекомендовал его «Сибирским огням», по-

сколько нигде нельзя было больше напечатать. Переводил его Шрайбер, тот, который перевел «Трёх товарищей» Ремарка, очень хороший переводчик. Я думаю, что роман натолкнёт нас на то, что мы недостаточно правдивы и искренни в изображении войны. В документальном кино она одна, а когда дело касается бумаги — она другая, немножко комиссарская: грудью девочка комиссара закрывает так красиво... Мы как-то забываем, что победу мы добились огромнейшим потоком крови, страшной травмой нашей нации русской. Опустела Россия из-за потерь на войне и опустела из-за того, что мы бездарно воевали. Мы завалили немца бомбами, кровью утопили. И — победили, слава богу. Но не дай бог, чтобы ещё одна такая победа к нам пришла. Тогда нас просто не станет.

Я понимаю, каждому человеку и обществу хочется выглядеть лучше. Но это, на мой взгляд, совершенно не должно касаться писателя. Писатель, если он чувствует себя самостоятельно мыслящим человеком, заблуждается, прав или не прав — это не его дело. Он сам себе судья и господин. Он не может об этом молчать. Он должен говорить с людьми на том языке, на котором способен говорить и возвыситься до той правды, на которую он способен. И это я вам, по существу, рассказываю то, над чем сейчас работаю, — своё произведение «Зрячий посох». Всё это очень сложно, и поэтому на работу ушло четыре года. Книга небольшая, а тем не менее — четыре года. И вообще, скажу вам, с возрастом жить труднее, думать тяжелее, а писать во сто крат труднее. Я завидую нашим советским писателям, которые пишут много, пи-

шут хорошо, часто издаются. Порой меня охватывает желание полегче жить, или, как сказал Вася Белов в записках об Италии, «жить по упрощённой задаче». Мне кажется, у нашего общества сейчас очень ошущима тенденция жить по заниженной задаче. Я называю это «мелкобуржуазный коммунизм»: двух-трёх комнатная квартира, три замка на ней, палас, несколько хрусталин, дача в пригороде, там опять три-четыре замка, собака, две гряды с клубникой и — пропади всё пропадом! В обществе и вообще у нас в жизни произошла очень сложная деформация, но мы, как всегда, всё, что у нас происходит сложного, признаём задним числом. Будем скрывать до бесконечности, уже нарыв вот-вот прорвёт, всё-таки будем помалкивать, ещё кому-то боязно потерять место из-за этого.

Я как пример вам расскажу такое. Я работал в городской газете «Чусовской рабочий» в 50-х годах. Мы называли её «Очусовелый рабочий». И мы в 58-м году попытались напечатать статью против алкоголизма. Пили и тогда там много уже, а в горячих цехах пить вообще ужас. Сейчас стали и в горячих пить. При какой-то больнице один врач поставил койки, какие-то уколы ставил, я не знаю, я выпивающий человек, но не пьяница, — не бывал там. Но я увидел, что несколько человек он вылечил. И он первый заявил, что это болезнь, но болезнь излечимая. И вот на эту тему мы нашим родным металлургам решили написать. Что вы думаете, нам это разрешили напечатать? Сразу разделились на два лагеря в горкоме: одни говорят, что надо печатать, другие — вы порочите советский образ жизни; ну, начинается наша демагогия, вы её каждый день слышите. Но у нас настырный был

редактор Григорий Иванович Цепенёв, сел в поезд — и в Пермь. И там уж сколько он ходил по обкому, до кого уж добрался, я не знаю, но статья эта была в резолюциях, как веер в китайских значках «Разрешаю — не разрешаю», наконец кто-то написал «Разрешаю», подчеркнул красным карандашом, но «Сократить и углы пригладить». И обязательно это у нас происходит, что до края дойдём, тогда уж — всё. Как штанами зацепишься за гвоздь в заборе, тогда уж загнуть его. Это не может не составлять и степени мучения живущего в этом обществе человека. Мне дорог мой народ, моё отечество. Всё, что у него болит, болит и у меня. Но у меня болит ещё, кроме всего прочего, когда врут. Когда врут бесконечно. Это уже привычный климат лжи. Я думаю, что общество, которое столько пролило крови, столько страдало, оно достойно уважения правдой, оно должно жить ощущением правды, порядочности, честности. Оттого, что мы молчим о преступности, преступников не убывает, оттого, что мы не говорим о пьяницах, пьяниц не меньше, а больше. И вообще, если болезнь замалчивать и не лечить, она приобретает агрессивную, тяжёлую форму. И я рад, что начал писать в период, когда существовала так называемая лакировочная литература. Литература уникальная в своём роде, нигде в мире не бывающая и только закономерно рождённая у нас за счёт лжи, обмана. И вот общество всё же смогло преодолеть этот страшный недуг и прежде всего за счёт творческих потенциальных сил в своём народе. И я дожил до такого счастья, когда литература возвысилась до правды, и рассказала народу эту правду, и от этого не пострадал никто; по-моему, просто стали

себя чувствовать лучше, и какие-то изменения произошли не без влияния этой литературы, так называемой деревенской прозы. Правда, я бывал в Кремле у одного дяди, он говорит: я вот так разом прочёл, так, братцы, это сложная литература. Мы говорим: а у нас и жизнь сложная. И хотелось бы и дальше работать и дожить свой век на каком-то самоуважении и как-то вместе с вами поразмышлять о том, что происходит у нас. Эта настоящая литература подвигла наше общество к самоанализу, к попытке самоусовершенствования, осознать себя, понять, что мы есть в этом мире. Даже уже и партийные и советские работники подвигать себя стали к правде. И я всё-таки верю в то, что мы доживём до такого времени, когда сможем откровенно смотреть друг другу в глаза. Если только это будет утеряно, общество наше переродится, оно имеет к этому тенденцию. Оно станет совершенно мне непонятным. Во всяком случае, не тем, за которое я воевал. Общество, в котором за горсть ягод бывший проректор института может перебить хребет четырёхлетнему ребёнку, меня совершенно не устраивает. Не за то, как говорится, боролись.

Много людей на встречах спрашивают у меня: как дальше жить? Чем жить? И я думаю: почему именно у меня? Может быть, потому, что я — сам того не ведая — дотронулся до каких-то болевых точек жизни. Только дотронулся, конечно.

Всё-таки я верю в потенциальные возможности народа и думаю, что эти недуги окажутся преходящими. В общем-то, мы побеждали и не такое. Эти крайности — они преодолимы. Только каждый из нас должен взять на себя груз ответственности.

НИЧЕГО ВЗАМЕН ЛЮБВИ



Стало вполне расхожим газетным приёмом писать, что Булат Шалвович родился в День Победы. Но один из его товарищей удачно заметил: нет, это Победа пришла в день рождения Булата.

С уходом Булата Окуджавы умерла и частица меня. Но в шуме и гаме сегодняшней жизни продолжается его голос.

В доме одноклассника Володи Цехановского со старого магнитофона я услышал:

Ах, какие удивительные ночи!

Только мама моя в грусти и тревоге:

– Что же ты гуляешь, мой сыночек,

Одиноким, одиноким?

Из конца в конец апреля путь держу я.

Стали звёзды и круглее и добрее...

– Мама, мама, это я дежурю,

Я – дежурный по апрелю!

Как это здорово совпало. Учились мы то ли в восьмом, то ли девятом классе, переживая пору детско-юношеской влюбленности. А за окном был как раз апрельский день. То самое время года, когда приметы весны неуловимы, но реальны, растворены в пьянящем, чистом воздухе. И эта песня была таким же природным явлением, как весна за окном. Как будто возникла из ветра, непроглядности весенней ночи, свежести тающего снега. И всё это подслушано и безыскусно передано нам. Потому и голос такой обычный, тихий, совсем не желающий обращать на себя внимание.

Теперь уже мне знакомы свидетельства людей, впервые его услышавших. И я не буду оригинален в попытке выразить свою реакцию. Потрясение, конечно. Не оглушающего свойства, а сладко кружащее голову. Через неделю-другую я побывал в общеститии политехников, в комнате, где жили старший брат моего товарища Сергей, его друг Лёха Субботин, оба «гоны», что значит велосипедисты. Серега поставил на громадного размера «Тембр» катушку с Булатом. Тут интересный эффект: я был настоль-

ко взволнован, что почти всё слилось в один поток, уносящий неведомо куда. Могу только выделить «Вы слышите: грохочут сапоги», «Бумажный солдат», «Песенку об Арбате» («Ты течешь, как река...»).

Почему он сразу стал мне необходим? Люди из поколения постарше, конечно, говорят о контрасте с ханжеством песенного потока тех лет. Я не был этим задет и отравлен. Нет, просто я слышал человека, живущего рядом, своего. И его переживания были моими. Он идеально воплотил формулу, согласно которой поэт возвращает нам наши собственные переживания и чувства, только выраженные точно найденным словом.

Какая-то безмотивная маета, смятение духа оказывались так выраженными в его песнях, что ты говорил себе: да, вот об этом была и моя печаль-тоска.

Помню, много-много лет назад в томской молодежке объявили рубрику «Расскажу о любимом писателе» и предложили читателям писать. Я принёс свою работу о Юрии Трифонове. И сотрудник вдруг скривился и сказал: «Ну надо ж, ну поди ж ты, Трифонов». Я уловил ревность, да она почти нескрывимо прозвучала. Так вот, меня никогда не смущало количество поклонников Окуджавы. Разве плохо, что возрастало число людей, у которых была потребность в этих песнях? Я и сам число таких людей умножал.

Откуда такое полное, безусловное доверие к нему? Как это объяснить? Это один из замечательных секретов его образа. Простая песенка – так ли просто это?

Он не старался тебя заполучить в друзья, союзники, что ли. Вызывающе слабый голос, не призванный звать за собою. Удивительная сдержанность. Но при этом такая точность слова. Печаль и надежда, глубинная свобода, нежность с удивительным чувством меры.

«Давай, брат, воспарим», – пел он, гражданин неба. Но и «муравей с арбатского двора» тоже он, он любил землю.

Мне нравятся фотографии на обложках его пластинок. Там он таков и есть: либо погруженный в себя, либо спокойно глядящий на нас, кажется, он мог бы сказать: «Я спою то, что сложилось, а как уж вам понравится – дело ваше».

Его склоняли за пацифизм, за отсутствие пафоса и задора. Один критик уверял: «За таким наши девушки не пойдут». Булат Шалвович на встречах с юмором вспоминал об этом своеобразном критерии поэтического дара.

Всем памятны волшебные строки:

*Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.*

Но воистину каждый видит и слышит, что хочет. И присяжный журналист с удовольствием ткнул пальцем: «Э, батенька, нажимают-то не на курок». Вот, мол, фронтовик липовый. Но это те самые ошибки, позволительные гению. Как Лермонтову его знаменитое «Из пламя и света рождённое слово».

Независимость его была естественна. Он не являл примера. Поддерживал, утешал. И это для нас было очень много. Провинциальная интеллигенция нашла в нём своего поэта, не столичного монстра, который иногда снисходит до «простых людей».

В былую пору критики говорили и о его бессодержательности. Думаю, сами понимали, что врут. Содержание в его песнях всегда было, это верность свободе, гимн товариществу. До декларированного сверху приоритета общечеловеческого над социальным это не считалось содержанием.

Но мне как-то досадны были в его многочисленных интервью 90-х злоба дня, сентенции на тему политики. Даже стыдно было за него единственный раз в жизни, когда он открытым текстом одобрил расстрел Белого дома. Мы тогда тоже растерялись, как ту ситуацию воспринимать. Так вот, помню, для моего товарища Коли Кашеева заявление Булата было помогающим преодолеть колебания, определиться. Для меня всё-таки нет. Окуджава потом всё искупил: и разочарованием в том, куда двинулась Россия и в тех, кто её повел. И пессимизм, овладевший им, когда он увидел дремучесть и безвольность народа, приблизил его кончину. Как его, тёртого и битого, захватила эйфория, как он обманулся, приняв за что-то настоящее политические игры?

Объявления о приезде Булата в наш город в сентябре 1993 года я воспринял как фантастику. Но в кассах концертного зала убедился в реальности. Билеты разбирались быстро, и я, забежав в редакцию город-

ской газеты, где сам недавно работал, сообщил об этом. Реакция привела меня в недоумение. Коллеги не заспешили в кассу, им показалось дорого. Билет стоил, как помню, 16 рублей. При средней их зарплате в три сотни так ли уж это было? Видимо, сказывалась привычка к газетной халяве. Но ведь это был особый случай! Неужели только мне так казалось? Правда, получив монопольное право на развлечение гостя, вся редакция соответственно получила право бесплатного посещения концерта. И законно этим правом воспользовалась. Впрочем, мне грешно обижаться. Ведь благодаря «халяве» я провёл на выступление Булата неожиданно приехавшую в гости взрослую дочь. А главное: получил возможность кроме концерта в течение целого дня (!) общаться с этим человеком более-менее наедине. Я знаю, кому обязан. Лёша Севостьянов, ведущий в «Буфф-саде» страницу встреч со звёздами на томской земле, позвонил мне: «Всё-таки, Окуджава – это ваше». Его поддержал редактор газеты Виктор Нилов.

В ресторане Булат, по-моему, был вполне доволен, что вокруг шёл спокойный разговор, никто не спрашивал его мнения по мировым вопросам. Наоборот, он сам, подняв палец, притушил голоса, обратив наше внимание на негромкую музыку из динамиков, полувопросительно заметил: «Кажется, это мелодия из эротического фильма «Эммануэль»?

Прямо-таки с началом «перестройки и гласности» газетчики новой волны принялись покусывать поэтов-шестидесятников, в том числе и Окуджаву. И «Независимая газета» внесла лепту: не надо делать

из них героев, они не борцы, а Окуджава – просто живой символ уходящего в историю последнего поколения интеллигенции, которое уходило в народ, чтобы спрятаться от ударов судьбы и властей... Я спросил, знакомы ли ему эти выпады и пассажи, как он это переживает. Он ответил:

– Знаете, недавно «Независимая» делала одну из модных ныне презентаций. Выписали повара из Парижа, он готовил и подавал устриц. По-моему, пошловато. Вам не кажется?



Несколько часов продолжалось дружеское застолье в «Томском вестнике». В тот вечер Булат Шалвович покорила нас открытостью, расположенностью к общению, чувством юмора:

– Как-то я пел в одной тяжёлой аудитории. Подобрались совершенно мрачные люди, ничем не проныть. Я спел им про дураков. И опять такая же глухая тишина. И я слышу, как в первом ряду один говорит другому: «По-моему, он нас обижает».

Он мягко уходил от предлагаемой ему роли кумира.

Его спросили: «Совершали ли вы дурные поступки?». Он ответил: «Конечно. Никакой святости во мне нет». Кто-то сказал: «И всё-таки вы не типичный москвич». «Напротив, – возразил он, – я вполне типичный московский человек». Спросили: «Не трудно ли вам здесь?» – «Что значит *здесь*? Это моя родина. Трудно ли не трудно...»

Нашлись в нашей компании несколько «отвязных» ребят. С естественной, как им казалось, простотой стали они балагурить с поэтом почти запанибрата, задавать неуместные вопросы. Меня поразило, как терпеливо он им отвечал, стараясь не замечать бестактности и амикошонства. А когда попросили что-нибудь прочесть, он огласил следующее:

*Славная компания... Что же мне решить?
Сам я непьющий – друзья подливают.
Умирать не страшно – страшно не жить.
Вот какие мысли меня одолевают.
Впрочем, эти мысли высказал Вольтер.
Надо иногда почитать Вольтера.
Запад, несомненно, для нас не пример.
Впрочем, я не вижу лучшего примера.*

Он точно соответствовал герою своих песен, единственный тост, произнесённый им за столом,

был истинно окуджавским: «За присутствующих дам».

Возникло у меня странное ощущение. Что вот он здесь, с нами. И в то же время как будто смотрит на всё со стороны. Запомнился он мне на том вечере грустным и мудрым человеком.

«Кончился праздник», – сказал кто-то за моей спиной. Булат Шалвович садился в машину, а добрая половина работников городской газеты стояла на крыльце редакции. Он приложил простёртую ладонь к стеклу, прощаясь. И всё-таки нет, не кончился праздник. Он из тех, которые всегда с тобой. А для меня и это прощание имело продолжение.

Кажется, простились мы вечером насовсем. И печально мне было, и понятно, что едва ли такое выпадет ещё в жизни.

Но фортуна, как в песне Булата, бывает неожиданно добра. Наутро мы с женой, одетые вполне походно, приехали к вокзалу Томск-1. А здесь нас должны были подхватить и везти на картошку. То ли приехали мы заранее, то ли запаздывала машина, только вдруг я вижу, что от гостиницы по направлению к вокзалу этак буднично шагает Булат Окуджава. В той привычной не застегнутой кожанке с красным пуловером под нею. Рядом – Ольга Владимировна, сын Булат (или Антон, как он придумал себя называть) и моложавый сопровождающий.

И мне вдруг открылась – нет, не разгадка феномена Окуджавы, а лишь некая часть этой тайны. Его романтический мир не заоблачен, не запределен. Он тут же, с нами, но чуть в другом измерении. Его мож-

но увидеть, в нём можно обжиться. Было бы желание.

Наверное, я всё-таки выдвинулся навстречу. Не то, чтобы очень вызывающе, но всё-таки. Он узнал, радостно поприветствовал. Поинтересовался, по какому поводу здесь. Я пояснил. «Да, картошка, картошка, – сказал Булат Шалвович. – Было это в моей жизни, было. Очень давно». Я познакомил их с моей женой. Перехватил у него сумку, и мы пошли на перрон. Поезд уже стоял на пути. Нашли вагон, занесли вещи. Компания занимала два купе. Вышли наружу. Булат закурил сигарету. К этому дню я уже знал, что это его любимый слабый (или мягкий?) «Житан».

Навсегда запомнил я – ощущением – прощальное пожатие его сухой крепкой кисти.

Зачем я сунул ему при встрече в редакции свою незрелую книжицу, ещё и почиканную и приглаженную издательством? Просто не смог удержаться. Недели через три пришло письмо от Булата Шалвовича. Он тепло вспоминал Томск, благодарил всех, кто был рядом в те томские дни. А затем подступил к моему несчастному сборнику. Со всей деликатностью предупредил, что будет говорить «по высокому счёту». И написал о том, что стихи «несмотря на общую поэтическую грамотность и искренность интонаций, за редким исключением, решаются не поэтически, а риторически». Давал совет: «Нужно резко отказаться от поверхностного решения, от повторения давно пройденного». И завершал так: «Простите за некоторую беспощадность, но в поэзии нельзя

иначе. Иначе – фальшь и подлость. Желаю мужества и удачи».

Это – часть моей личной жизни. С его уходом жизнь укоротилась. Известие о его смерти я получил из того же дома, где впервые услышал его песни. Мой товарищ и одноклассник Володя Цехановский позвонил мне утром 13 июня 1997 года. Встаёт он рано, и все его утренние занятия на огороде сопровождает «Радио России».

ПИТЕРСКИЕ МОТИВЫ

I

В детстве я ни от кого не слышал ярких рассказов об этом городе, а живые рассказы в определённом возрасте действуют побуждающе. Значит, я сам захотел увидеть его после Пушкина и Блока? Это вызывает у меня некоторое самоуважение.

Почему он в последние приезды перестал удивлять, откуда взялось это ощущение истощенности? Подобно выработанному шурфу в старой шахте. Ведь совершенно точно остались неосвоенные места. Наверное, это возраст. Наросты лет, сквозь которые трудно пробиваются звук и цвет. Всё-таки жизнь пришла к своему невесёлому предварительному итогу – старости. Говорю «невесёлому», передавая главное самоощущение. Я читал, конечно, о других – отрадных и положительных качествах этого возраста. Может быть, я до такого осмысления ещё не дожил, что внушает определённый оптимизм. Однако же сколько раз я покидал город – и никогда моя встреча с ним не казалась последней. И вот только нынешняя (а до этого – предшествующая) оказалась таковыми. Наверное, оттого, что ощутил – а куда денешься! – предел возможностей.

А может, тому виной прогрессирующая близорукость. Детали, детали перестают быть добычей для глаза, а спокойно и безнаказанно ускользают. Помню, в былые годы здесь не то чтобы не одолевала, а даже не подступала хандра или меланхолия. Внешних отвлекающих обстоятельств столько, что некогда отзывать на такую ерунду. Каждое утро что-то обещает тебе. Что-то новое и волнующее.

Вода и камень. Один из отмеченных поэтом контрастов, действительно, и трогает, и волнует. Стоя у гранитных оград, не приходило в голову что-либо накручивать, но, разумеется, посещала мысль, что в этой воде отражались и Пушкин, и Ахматова, и хмурый Раскольников и несчастный Акакий Акакиевич. И вода, вероятно, их где-то там хранит. Созерцание воды для меня самоцельно, я люблю реки, озёра, сказал бы, моря, но видел лишь Чёрное и то на заре туманной юности.

Мне везло на солнце в этом городе. Недавно, что называется, подводя итоги, я суммировал дни, проведённые в нём, и вышло, что я прожил здесь без малого полгода. И почти каждый приезд оставлял солнечное впечатление, я увозил картинки, полные света. Свет, который помогает разглядеть колонны, лепнину, памятники вперемешку со светом, отражённым Невой, Мойкой, Фонтанкой. Этот свет из воды заставлял щуриться, а если ты вышел из рюмочной на Халтурина, то вот так, сощурившись, помечтать и погрезить. И как в те молодые годы гармонично и бесконфликтно укладывались в голове разнородные впечатления – и закусочная у кинотеатра «Баррикада», и серовские портреты в Русском музее, и молодая экскурсо-

вод в Петропавловке, с которой можно, провожая её до трамвая, поговорить не только о народовольцах.

Народовольцы в первый приезд вспоминались постоянно. Только что был прочитан замечательный роман Юрия Трифонова «Нетерпение». И когда я дошёл до канала Грибоедова (бывшего Екатерининского), и с моста мне открылся Спас-на-Крови, я так легко, без напряжения, без так называемого погружения в историю, увидел картину цареубийства. И платочек Перовской, и бомбу Рысакова, которая поразила рысаков (как заметил Трифонов) и мальчишку – разносчика, и отчаянный шаг Гриневецкого навстречу гибели (императора и своей) во имя торжества приговора, вынесенного «Народной волей». В другие годы я, конечно, тоже приходил к собору. Видения не повторилось.

Но и в другие годы были открытия. Как-то проносились с братом Валериком (он уже поселился в Питере) на его автомобиле. И вот Смольный собор предстал из окна машины в неожиданном ракурсе, таким я его никогда не видел. Он как бы приподнялся и встал отдельно как на блюде, такой воздушный, зефирный.

– Так бы и съел его сейчас за чаем! – сказал я Валерику. Валера восхитился этим пассажем и напомнил о нём в следующую встречу.

Когда наступал вечер, начинался другой город – мягкий и сокровенный. Понятно, что это там, где не разлит мёртвый, неоновый, мефистофельский свет, где не гадают и не топчут асфальт толпы. И в ту пору легко удавалось устранить себя из числа «шлифующих усердно эспланаду» и просто жить в этом горо-

де. Да и выбирал я для своих встреч с ним либо раннюю весну, либо осень, когда исключалась массовая его оккупация.

Замечательно вспоминается эта как бы бесцельность в долгих пеших прогулках каждого дня. На самом-то деле ты прикидывал, определял некие цели: вот сегодня в Лавру. Она подразумевалась, и только. Ты не спешил к ней уверенным бодрым шагом, но она случалась как неизбежность.

Город – музей под открытым небом – напоминает мне матрёшку (при всей чужеродности этого образа Петербургу). Открываешь его, а в нём Русский музей, Эрмитаж, замечательный музей истории города в Петропавловской крепости, квартира Пушкина и прочая и прочая. Открываешь Русский музей, а там зал Серова с его портретами. И совсем здорово было, когда в один из приездов я возвращался вечерами в пустую квартиру в пригороде, Озёрках. А утром, направляясь к автобусу, оглядывал окрестности, вспоминая, что сюда приезжал Блок, что бродил здесь, успокаивая свои больные нервы. И места были, наверное, более дикими, и такими отметились в его стихах.

По тому, как сжало вполне здоровое с точки зрения кардиологов сердце и как защидало глаза, я понял, что полюбил этот город. Будущие встречи показали, что навсегда.

Впервые я приехал сюда в 1974 году укрепить знакомство с Витькой – товарищем, обрётённым в другой поездке, там были донские станции и даже город Сочи, но это вообще иная тема. Витьки не оказалось дома, в Гатчине. Забрали на армейские сборы,

его профессия повара, понятно, очень востребована. Всё случилось так быстро, что он меня не извещал. Его мама Евгения Михайловна отвезла меня к своей родной сестре Валентине Михайловне в Питер. Та жила в глубине дворов на Староневском. Эта незадача с Витькой обернулась фантастической удачей. Я прожил здесь три недели, просыпаясь в первые ночи от грохота трамваев, а потом привык, как и другие жители этих домов. Я уходил на весь день, возвращаясь в поздних летних сумерках. Мы пили чай с Валентиной Михайловной, причём не на кухне её однокомнатной квартиры, а за круглым столом, накрытым скатёркой, в комнате – так она сама устроила. Я рассказывал ей о том, что видел. Она иногда давала советы на завтра. Я расспрашивал о блокаде – они с сестрой пережили этот ужас вместе, потом она ушла с армией воевать, а Евгения Михайловна осталась. Тогда впервые я услышал и о людской подлости, и о людоедстве, что не исключало мужества и порядочности других.

Приближался уже грустный день отъезда, а у меня было ещё одно дело, которое я всё откладывал. Это был звонок ленинградскому поэту Александру Кушнеру. Я робел, но я должен был ему позвонить, потому что телефон поэта оказался у меня по счастливой случайности. И этим никак нельзя было пренебречь.

II

Отчисленный в январе 1969 года с историко-филологического факультета Томского университета, я отправился зарабатывать хорошую трудовую характеристику в надежде на возможное восстановление

(так посоветовал декан оставленного факультета). Работал я в деревне Татьянаовка в школе-восьмилетке. В редкое свободное время наезжал в райцентр, там жила моя тётя, там я познакомился с работником районной газеты Юрой Мясниковым. Он-то и дал мне почитать сборник ленинградского поэта Александра Кушнера. После эстрадных авторов «Юности» я был поражён этим нефорсированным, спокойным и свободным голосом. И понял, что именно частные переживания, частная, обыденная жизнь может быть предметом поэзии. Не Бог вещь какое открытие, но его нужно было сделать самому. Верное слово, внимание к деталям, особая петербургская аура культуры, естественность высказывания.

Речь, оставаясь простой и будничной, незаметным образом вырастала в поэтически неповторимую.

*Эти сны роковые – враньё!
А рассказчикам нету прощенья,
Потому что простое житьё
Безутешней любого смещенья.*

Предметы, о которых шла речь, были мне сто раз знакомы. Они как будто не заслуживали внимания, по крайней мере, в моих тогдашних строчках места для них не было. А здесь они представляли, полные особого значения:

*Поставь стакан на край стола
И рядом с ним постой.
Он пуст. Он сделан из стекла.
Он полон пустотой.*

И ещё (может быть, самое главное): поэт утверждал свое право так жить, так говорить, так чувствовать. Но делал это поразительно спокойно – без

громких деклараций, они были не нужны, он – убеждал. И ты чувствовал, что слушаешь его, не задирая голову, а как будто стоя рядом.

Я доверился его голосу, мне нравилось читать стихи Кушнера другим, умножать число его поклонников. Смешны были рассуждения критики о мелко-темье поэта, об излишней камерности. (Сегодня нет, наверное, более цитируемой фразы, чем «Времена не выбирают./ В них живут и умирают»). Теперь я ждал его публикаций в журналах и новых книг. Начиная со сборника стихов «Письмо» все последующие занимали места на моей полке.

Восстановившись в рядах студентов и окончив университет, я работал учителем литературы в другой сельской школе в замечательном селе Монастырка. Совсем рядом с домом, где я жил – лишь спуститься с горы – текла прохладная даже в знойные дни река синего цвета, дальше простирались поля, а в другую сторону начиналось разнoleсье. Хорошие места брали для себя в старину начальники из томского монастыря.

Так вот, оказавшись в Ленинграде летом 1974 года, распивая чай с блокадницей Валентиной Михайлов-ной, бродя по улицам, переулкам, площадям города, я не забывал, что здесь живёт и работает мой любимый поэт. А уж по набережной одной из питерских рек меня просто вели его строки:

*Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензинный угар на ходу,*

*Меж Марсовым полем и садом
Михайловским, мимо былых
Конюшен, широким обхватом
Державших лошадок лихих.*

И я узнавал и названные дома, и «сверканье листов, и дворцов, и реки»... Воистину, это был лучший путеводитель.

В редакции журнала «Аврора» спросил телефон Александра Кушнера. Там посмеялись: «Чего захотел!», но одна добрая женщина, услышав, что я из Сибири, номер написала. Истекали дни пребывания, и я решился. Позвонил из телефона-автомата, и, борясь с волнением, ожидал ответа. Александр Семёнович поначалу сослался на занятость, но, узнав, что я учитель в сельской школе, пригласил зайти. Нужно было ехать далеко на метро, он жил тогда в районе Автово, потом идти дворами. Добрался, разыскал.

Плохо помню первое впечатление, может быть, сегодня я отчасти придумываю его. Смутно вижу возникший в дверях силуэт хрупкого покроя. А уж что сказали – я? он? – подавно не помню, потому что в ушах громко бухало, отзывалось моё потрясённое сердце. Чуть успокоившись, я отметил: облик поэта был в полной гармонии с его стихами. Внимательный взгляд, тихий голос и та подлинная скромность, которую не сыграешь. Разговор наш был недолгим, я смущался, терял слова, и он это понял. Я оставил ему несколько стихов и нечто вроде поэмы под названием «Общежитие», в которой как-то отразился опыт жизни и душевные порывы тех лет. Он взял стихи, обещал ответить. Я вышел в отчаянии: извечное неумение взять себя в руки!

Вскоре я получил письмо (благодарно сохранённое). Честно сказать, я ожидал текста в 10-15 строк. Нет, это было полновесное письмо на четырёх страницах.

«Прочёл ваши стихи и отвечаю, как обещал. Мне кажется, Вы человек одарённый, в Ваших стихах слышится беспокойство, настоящее волнение за судьбы страны и вашего поколения. В этом особенно убеждают, при всей их неровности, стихи про общежитие и «Спутник» – одно из лучших стихотворений, на мой взгляд.

И всё-таки утверждать со всей определённостью, что Вы – настоящий поэт, я бы пока не стал. Мне представляется недостаточно серьёзным Ваше отношение к поэтическому слову и образу, недостаточно оригинальной и чёткой ваша мысль».

Далее шёл подробный, требовательный, но благожелательный разбор моих слабых строк.

Он советовал больше читать, в очерченном круге я отметил не знакомого мне тогда Ходасевича и поверхностно прочитанного Кузмина. Заканчивалось то первое письмо такими строчками: «Верю, что вы можете написать настоящие стихи – потому и не делаю никаких скидок. Всего доброго».

Встреча и дальнейшее общение с Александром Семёновичем неоценимо помогли мне в жизни.

В 70-е в Томске (как и в других городах Союза) проводились так называемые семинары молодых авторов. Вели их литературные эмиссары из столицы. Они определяли необходимый средний уровень: чтобы казалось свежо и далеко в невнятицу не уходило. Поощрительно кивали сибирской экзотике –

лайкам и пельменям, натруженным рукам нефтедобытчиков. Но если мои товарищи читали на таком семинаре стихи, хоть как-то напитанные мировой культурой, можно было предсказать итог: пиши – пропало. Понятно, что ни в какой коллективный сборник ты не попадёшь, доброго слова не услышишь.

Но, слава Богу, это не угнетало. У меня уже был Кушнер. В его письмах не было наставлений, как и о чём надо писать. Но после них я определённое представлял, как писать не надо. Он ненавязчиво помогал найти себя, определиться. И отступало желание непременно где-то напечататься.

Исключением из университета я был клеймён надолго. А тут в 1980-м ещё добавилось: разогнали наш, так сказать, Гайд-парк. Этот образ не притянут за уши. Я подрабатывал ночным сторожем в цветочной теплице горзеленхоза, на полусотню метров тянулись стеллажи с цветами. Особенно это вечно-зелёное пространство впечатляло зимой, когда ты приходил на дежурство, оставляя за дверью вьюжный, морозный город. Мои товарищи-сменщики активно дружили с там- и самиздатом. Допоздна шли вольные беседы и споры. Потом гости разбредались по домам. Как сторожу мне надлежало не спать, и бодрости мозга и сердца содействовала запретная в СССР литература. Это было «Собачье сердце» Булгакова и «Котлован» Платонова, это был, конечно, «Архипелаг ГУЛаг». Тогда же узнал я Бродского, Кублановского, Горбаневскую, Корнилова (в 60-е я полюбил его книжку «Пристань», а потом он из советской периодики пропал). Я увидел, что многое

из напечатанного за рубежом интереснее, содержательнее, свободнее того, что появлялось в журналах здесь. Чекистам надоел этот ночной литературный клуб (а конспирации должной у нас не было), меня уволили из районной газеты, но на беседах (как они это называли) в КГБ каяться мне было не в чем. Я сказал, что имею право читать то, что написали другие и давать этому свою оценку. С той поры о каких-то публикациях можно было забыть.

Но у меня был Кушнер, и наше общение продолжалось. Помню нашу встречу в середине 80-х уже в другой квартире за воспетым им Таврическим садом. Хотя, что значит помню. Александр Семенович углубился в мои стихи, написанные за последние годы, а я, борясь с волнением, видел только, как ликовала летняя листва за окном. Потом он поднял в руке небольшую пачку – десятка два листов. Сказал, что это совсем не плохой итог.

Беда: за все наше знакомство я так ни разу и не был его полноценным собеседником. Не принимать же всерьёз мои рассказы о жизни: о работе словесником в школе зоны строгого режима, о наших морозах, о неизменной любви к городу на Неве. Хотя, казалось мне, и это всё ему интересно. Бывало, я замолкал надолго. И потом понимал: он видит эмоциональную мою неуравновешенность и прощает мои заморочки. Чем значимее, глубже человек, тем проще и естественнее он в общении.

Его письма помогали мне жить. Он отмечал удачи, предостерегал от банальности. Он был доброжелателен и строг – замечательное сочетание. То, что



У Кушнера с Глебом. Лето 2011 года.

меня не печатают, как-то отходило на второй план. А имя моё в наших палестинах было под полным запретом. Перестройка и гласность шли к нам с большим запозданием. В 1989-м мне предложили стать одним из авторов так называемой кассеты – в ней было четыре стихотворца. Так в сорок лет я вышел к читателю.

Потом были вторая и третья книжки. К сборнику «В области сердца» я попросил Александра Семёновича написать несколько вступительных слов. Он откликнулся на мою просьбу. В этом предисловии он вспомнил о начале нашего знакомства, вспомнил, как рекомендовал меня в Союз российских писателей, дал, как говорится, весьма лестную оценку моих опытов. «Те стихи, что я прочёл, доставили мне радость и подтвердили давнее мое убеждение: русская поэтическая провинция ни в чём не уступает двум столицам и заслуживает благодарного читательского внимания», – так он завершил свои заметки.

Я не жаловался на отсутствие литературной среды или нехватку столичного внимания, и с благодарностью читал такие утешительные его строки:

*Иисус к рыбакам Галилеи,
А не к римлянам, скажем, пришёл
Во дворцы их, сады и аллеи:
Нищим духом видней ореол,
Да ещё при полуденном свете,
И провинция ближе столиц
К небесам: только лодки да сети,
Да мельканье порывистых птиц.*

Старался и стараюсь не слишком занимать его время, разумеется, ни разу не просил его что-то куда-то пристроить. Но горжусь, что стихи мои (уже в новом веке) появились именно в питерской «Звезде».

Имя Кушнера на слуху, оно в литературном обиходе, и за событиями его жизни можно следить по газетным и сетевым публикациям. Я был рад, что после стольких лет разлуки они встретились и общались с Бродским. Я радовался его широкому признанию – и Государственной, и Пушкинской премиям, и тому, что он был первым удостоен Национальной премии «Поэт». Но все эти новые обстоятельства не отдалили нас. Ответы на мои письма приходят так же исправно и скоро. Он обязателен и пунктуален. Три года назад я спросил, не напишет ли он письмо поддержки при выдвижении меня на Губернаторскую премию. «Где адрес, на который я могу направить свой текст?» – читал я уже на другой день в своей почте.

Наконец, в прошлогоднюю июньскую встречу с Александром Семёновичем я отбросил пресловутую сибирскую сдержанность и признался, как давно и навсегда дороги мне автор и его стихи. Он пожал мою руку.

– Подумать только, Лена, мы с Владимиром знакомы целую жизнь, более четверти века, – говорил он, повернувшись к Елене Всеволодовне. Да, немалую жизнь. Через год после нашего знакомства родилась моя дочь, сегодня она – взрослая женщина, и возраст внучки уже приблизился к совершеннолетию.

Томск в его стихах появился каламбурно-шутливо: «Я бы в Томске томился,/ В Туруханске струхнул...». В нашем городе он был в далёкие 60-е, когда Томский политехнический институт собирал свои знаменитые Дни поэзии. И в недавнем разговоре он вспомнил берёзы, что вцепились корнями в склон у главного корпуса, вспомнил студентов, готовых за полночь слушать стихи с открытой эстрады в Лагерном саду. Наш главный проспект местами напоминает петербургские улицы – одни архитекторы творили и здесь, и там. И, проходя мимо любимых старинных зданий, мне легко представить рядом моего учителя и старшего товарища.

Январь-апрель 2012

ДНИ СО СМОКТУНОВСКИМ

В январе 1969 года, исключённый из числа студентов историко-филологического факультета, я отправился зарабатывать трудовой стаж, необходимый для восстановления в университете.

В райцентре Мельниково, где жила моя тётя, устроиться не удалось. Заведующий районо предложил несколько сельских школ-восьмилеток на выбор. Я был в ту пору влюблён в девушку по имени Татьяна, потому сказал, что готов отправиться в деревню Татьяновка. Она оказалась не близко от райцентра, так что к тёте на блины ездить не получалось, но выбор был сделан.

Эта деревня была основана крестьянами, переселенцами из России, в начале двадцатого века, в годы столыпинской реформы. Она и соседняя Анастасьевка были названы в честь царских дочерей.

Татьяновка – классическая деревня в одну длинную улицу (два-три отростка не в счёт). Вокруг поля, которые чередуются с берёзовыми массивами. Вдоль улицы обмелевшая, почти высохшая речушка, оживающая лишь весной. В центре поселения, как и положено, школа, затем кучно – совхозная контора, клуб, библиотека, магазин.

Обычная сибирская деревенька выделилась из других тем, что здесь родился Иннокентий Смоктуновский. И довольно скоро я об этом узнал. Фёдор Иванович Петрович, взявший меня на постой, помнил Кешу пятилетним мальчишкой. Более того, наискосок от нашего дома, на пригорке, жил Александр Григорьевич Смоктунович, одногодок и сродный брат великого артиста. Он прошёл фронт, потерял руку, но был энергичен, напорист, как и положено совхозному бригадиру.

Фёдора Ивановича судьба тоже не баловала. Отбыл на Колыме свою десятку, но выжил, возвратился.

Вот эти серьёзные, бывалые люди брали меня в свою компанию. После трудового дня или в выходной доводилось посидеть с ними за столом, пообщаться за бутылкой водки или банкой медовухи. Разумеется, я их спрашивал о знаменитом земляке.

– Кешка-то? – переспрашивал Фёдор Иванович, оглядываясь на десятки лет назад. – Шустрый был мальчонка. За ним – глаз да глаз, того и гляди, утянет, что плохо лежит...

Громко, заразительно хохотал Александр Григорьевич. Фантастический его смех и по сегодня звучит, стоит лишь потревожить память. Похоже, он был абсолютно согласен с дедом Фёдором.

Дочь Александра Григорьевича была моей ученицей, и Анна Романовна, её мама, была молодой и красивой. Дед Фёдор обязательно замечал, когда она проходила мимо за окном:

– Вон, Королева прошла.

Это вполне шло к её осанке, её блестящим голубым глазам. Чуть позже я узнал, что Королями звали

по деревне мужчин из рода Смоктуновичей. Почему? Однозначного толкования не давали: кто говорил – за богатство, кто говорил – за гордый польский нрав...

Я бывал у них в гостях: всё-таки по соседству. В те годы личная жизнь любого деятеля культуры была за семью печатями. Потому я с интересом слушал письма Иннокентия Михайловича (правда, очень редкие) о работе и жизни, о маленьком сыне Филиппе. Тогда же увидел и фотографию мальчика.

Конечно, в ту пору я уже знал и любил актёра Иннокентия Смоктуновского (бывшего Смоктуновича). Любил его Фарбера из фильма «Солдаты» по роману Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (1956). Знал, что в том же 56-м Михаил Ромм снял его в эпизоде в картине «Убийство на улице Данте». Никто его, думаю, рядом с экзотическим красавцем Михаилом Козаковым не заметил. Но сам Ромм запомнил дебютанта и дал ему одну из главных ролей в «Девяти днях одного года». Смоктуновский оправдал надежды. После Гамлета (1964) стал знаменит не только в стране – в мире. Потрясающе исполнил роль совсем другого плана – Деточкина в «Берегись автомобиля».

Зимой 69-го в Татьяновку привезли «Степень риска» – фильм по повести писателя-хирурга Н. Амосова. Я уже прочёл в журнале «Советский экран», что снимались там Борис Ливанов и Иннокентий Смоктуновский. Вечером рванул в клуб. Мне хотелось увидеть не только кино, но и реакцию зри-

тельного зала на игру земляка. Для тех, кто не видел фильма, скажу, что хирургу (Ливанову) необходимо, чтобы пациент (Смоктуновский) перед операцией обрёл любовь к жизни и крепость духа, а тот растерян – рефлектирует и впадает в уныние. Задача хирурга – сделать больного своим союзником. И ему это удаётся. Когда зажёгся свет, никто не воскликнул «Знай наших!» или что-нибудь в этом роде. Односельчане помаленьку расходились по домам. И тогда я сам спросил у тех, кто ещё задержался, разговаривая с Фёдором Ивановичем:

– Ну и как земляк сыграл?

– Да ну его! – досадливо отмахнулся один из них.

– Труса какого-то изобразил, смотреть противно.

Его молчаливо поддержали. По сути, это была высокая оценка.

В семьдесят первом, в апреле, Иннокентий Смоктуновский приехал в Томск в составе большой команды. Тогда во Дворце спорта проходило такое представление, где актёры как бы сходили с экрана и общались со зрителями живьём.

Мне к тому времени удалось восстановиться в университете, соседи по комнате общежития, конечно, знали, где я в пору исключения работал. И вот один из них, Валера, стал настойчиво предлагать мне пойти и познакомиться с артистом. Я страшно робел. После «Гамлета» он был для меня гением, неприкасаемым. Я решительно отказывался. Тем не менее Валера меня укатал.

Смоктуновского поселили в гостинице «Сибирь». Времена тогда были иные – нам спроста ука-

зали номер. Мы постучали. Знакомый голос с хрипотцой, а вернее трещинкой, предложил войти. Мы вошли. Понятно, я потерял дар речи. Валера всё объяснял, рассказывал о себе, обо мне. Иннокентий Михайлович пытался меня расспрашивать о родине, но нелады с языком у меня, к сожалению, продолжались. Мы принесли с собой какой-то немецкий альбом, Валера попросил надписать: «Для меня, жены и нашего маленького». «А кто маленький – девочка, мальчик?» – поинтересовался Иннокентий Михайлович. «Он пока не родился», – простодушно ответил Валера. И артист надписал что-то вроде «Валере, Наденьке и их будущему ребёнку».

Когда мы покидали номер, Иннокентий Михайлович придержал меня в дверях:

– Володя, вы приходите утром, часиков в десять, если сможете. Поговорим.

Большую часть ночи я провёл без сна. Лежал, глядя в потолок, слушая ровное дыхание спящих товарищей. Под утро немного придремал, а в десять стучал в дверь гостиничного номера. Он спросил, кто это, я ответил. Он открыл дверь. На голой груди актёра я увидел нательный крестик.

Вскоре он вышел из ванной – бодрый, живой, приветливый. Не было тогда в нём вальяжности, лени и некоторой нарочитости. Всё это появилось позднее. Как-то удалось ему меня растормозить, и у нас завязался разговор о деревне Татьяновке. Он спрашивал о том, что помнилось с детства: об окрестностях, о большой гари, о мельнице, о речке Шегарке, о деревне Муре (с ударением на последний слог), о брате, конечно. Могу свидетельствовать:

во всём этом был интерес подлинный, натуральный. Он подвинул мне блюдо с апельсинами.

– А что, в Томске с этим свободно? Начальники ваши меня угостили, а я вот – вас. Давайте, давайте...

Хозяин отозвался на стук в дверь, и в номере появился один из активистов нашего университетского киноклуба. Он оторопел, увидев меня, достаточно по-свойски поедающего апельсин. Иннокентий Михайлович предложил ему присоединиться. Но Вася решительно отказался и объяснил цель визита. В Доме учёных решили показать «Чайковского», просят выступить перед сеансом. Смоктуновский согласился и уже у порога вручил-таки Васе апельсин в подарок.

В эти дни мы виделись ещё не раз. Однажды дошли с ним, неузнанным, до Петропавловской церкви. Он только кепочку поглубже надвинул. Один встречный человек неглупого вида, правда, остановился, смотрел нам вслед, но никаких шагов не предпринял. В гостинице, когда пили чай, Иннокентий Михайлович спросил, есть ли среди моих знакомых стариков такие, кто может расстаться с иконами, продать, сказал, что готов хорошо заплатить. «Куда мне написать, если что-то получится?» – спросил я. Он вынул из большого блокнота фотографию, это был кадр из «Гамлета» и черкнул на обороте свой тогда ещё ленинградский адрес. Я стал заверять его, что пустяками не отвлеку, местожительство его никому не открою. Он ласково остановил: «Да я знаю, знаю».

Однажды у гостиницы он раздавал автографы, один парень подсунул ему заводской пропуск. Смок-

туновский спросил: «А с работы не погонят?», но расписался. Мой товарищ Виктор протянул ему книгу «Миллионы, миллионы японцев». Актёр на секунду задумался и приписал к названию на титульном листе «... и ещё один. И. Смоктуновский». Вечером в холле гостиницы он отвёл меня в сторону.

– Вот что, Володя, мне предлагают устроить поездку на родину.

Была распутица, на Томи прошёл лед, но переправы ещё не было, а Обь вообще не тронулась. Предупреждая мой вопрос, он продолжил:

– Предлагают полететь на вертолёте. Что вы об этом думаете?

Конечно, я сказал, что это замечательно.

– А не слишком ли это шикарно? Как-то по-барски?

– Да что вы! – энергично запротестовал я. – У нас же тут север, нефть, тут к этому отношение другое. Летают на охоту, рыбалку...

Убеждал я его вполне искренне, но в глубине души был с ним согласен.

Всё-таки он отказался тогда от полёта в деревню и побывал здесь только в 1985-м во время гастролей МХАТа в Томске.

Это был год его шестидесятилетия.

Как мне жаль, что не оказался я тем летним днём в Татьяновке! Как было бы интересно увидеть его встречу с братом, с дедом Фёдором. И понимаю, что тогда увидел бы всех их последний раз. Потому что тропы-дороги всё как-то пролегли мимо этой деревни. Хотя с нею связаны самые тёплые воспоминания.

Знаю об этом дне по рассказу замечательного фотомастера, покойного Александра Георгиевича Васильева: «Родственники нас уже ждали. Он попросил у них рабочую одежду – ему дали глубокие калоши, рубаху, он переоделся и отправился по деревне. Старики здоровались, называли его Кешей. Смоктуновский много шутил. Он был своим среди деревенских, чувствовал себя как рыба в воде. Не играл своего парня – был им. Изящный, аристократично-рафинированный на экране, в родной деревне он предстал передо мной простым сельским человеком. Сходил на зерноток, поработал там вместе с женщинами, поговорил с ними за жизнь. Прошёлся с плугом на соседском огороде (*это и был огород моего старого друга деда Фёдора*). Мне как фотокорреспонденту легко было с ним работать. Он давал возможность присмотреться, выбрать удачный ракурс, подсказывал, как лучше снять. Специально не позировал, но чувствовались актёрский опыт, умение показать фактуру...».

...В августе 94-го, вскоре после известия о смерти Иннокентия Михайловича, на его родину отправилась телевизионная группа снять сюжет. Прихватили и меня.

Августовский день стоял во всей красе. Трещали кузнечики в кладбищенской траве, когда мы со вдовой Александра Смоктуновича – Анной Романовной – подошли к могиле её мужа. Потом прошли к месту, где когда-то, до колхоза, была мельница его отца. Ему это припомнили, забрали в 38-м с концами. А вот отца Иннокентия Михайловича этот жре-

бий миновал, его смерть нашла на фронте. Теперь не то что мельницы, следа от неё не осталось. Крапива больше человеческого роста не даёт спуститься к воде. После мельницы была здесь плотина, и возле деревни стоял пруд, особенно полноводный весной. Плотина разрушилась, пруда не стало, струится хлипкий ручеёк, русло зарастает травой, тальником. А тогда, в 69-м, четверть века назад, я сам черпал из пруда воду, носил в баню.

Встретили Александра Сергеевича Попелкова, друга детства будущего актёра.

Родился в 1922-м в Татьяновке, сходил на войну, сюда и вернулся. Показывает мне фотокарточку, там



рядом с ним Фёдор Иванович, Александр Григорьевич, Иннокентий Михайлович. Вспоминает:

– Пахали огород у деда Фёдора. Приезжает машина, Григорьичу говорят: сейчас брат прибудет, готовься. Тот говорит: чего готовиться-то, приедет, встретим. Те ему предлагают: коньяку возьми ящик. Он – им: «Да ящик-то на что?» Взял сколько-то бутылок. Подъехал Иннокентий, пришёл к нам, стал помогать. Вспахали огород. Потом отметили, как положено. Тогда и снимок фотограф сделал. На другой день Троица была, сходили на кладбище, помянули, как полагается. Коньяк прикончили. Григорьич ему намекает, не продолжать ли самоделкой. Тот говорит, почему, мол, нет. Пошла за милую душу.

– Не хвалился он своим московским житьём?

– Нет, не хвалился. Всё больше о нашей жизни говорили.

– Умер на днях Иннокентий Михайлович, – сказал я ему.

– Умер... – повторил Попелков задумчиво. – Значит, я один живой с этой карточки.

Снимок сделан в 85-м году. Фёдор Иванович умер в 86-м, ещё через год – Александр Григорьевич. В августе 94-го – Смоктуновский. Александр Сергеевич ушёл в 2006-м.

Заглянул Иннокентий Михайлович в свой последний приезд и в село Маркелово (оно не так далеко от Татьяновки) к двоюродной сестре Марии Григорьевне.

Навестили и мы её тем августовским днём.

– Он обещался на 70 лет подъехать, – рассказы-

вала Мария Григорьевна. – Очень ему понравилось. Так, говорит, отдохнул душой. Мы тоже были рады. По-первости немного растерялись, но он сразу повёл себя просто, по-свойски. Я корову собралась доить, он ведро взял: «И я с тобой».

– Уезжал, говорил, приеду на 70 лет, – повторяет она. – Перезванивались иногда. А тут слышим: умер Иннокентий. Теперь только на экране да по телевизору увидим, да на этих вот снимках...

Внучка Юля открыла фотоальбом, на снимках Смоктуновский в окружении родни – на пасеке, за столом... Хорошая погода, хорошее настроение. На обороте – добрые слова, набросанные размашисто, крупно: «Моим милым, дорогим...».

Я узнал этот крупный, размашистый почерк. На книге «Кинематограф сегодня», где есть статья о «Гамлете», Иннокентий Михайлович тогда, в далёком 71-м, написал: «Володя, спасибо Вам за взволнованность. Всего Вам светлого в жизни».

За все дни общения я так и не смог укротить сердце. И он это увидел.



БОРИС

Я впервые услышал и увидел его зимой 1970 года, в январе-феврале. Сначала услышал. В подвале общежития на Ленина, 49 что-то отмечали, было шумно, весело. Звенела гитара, что-то пели. Потом хор смолк и остался один удивительно красивый голос. Не берусь описать его словами. Сильный, уверенный, а ещё была в нём некая мальчишеская чистота и непосредственность. Мне кажется, он пел Окуджаву «На арбатском дворе – и веселье и смех...». Кто-то просёк мою реакцию: «Ты что, не слышал Борю? Идем, познакомишься». Владелец чудного голоса был не менее красив. С того вечера мне запомнилась замечательная овценовская улыбка. И потом, в последующие годы, я много раз видел её. Есть такой штамп: «улыбка пробежала». Но было именно так. Она не застывала, она двигалась, жила.

Потом мы виделись эпизодически. Борис был вписан в другой круг, но как-то (в 71-м или 72-м?) наши рукописи обсуждались в областной писательской организации – моя, Серёжи Хабибулина и Бориса. Нас с Серёгой оттянули за невнятность и книжность. О, «книжность» – беспроектный козырь. Мало подлинной жизни, а что они под этим

разумели – поди узнай. Стихи Бориса прошли на «ура», и совершенно заслуженно, в них дышала тайга, горели костры Стрежевого, разбивалась о камни глубокая душа реки. В них был воздух, свет, лирический герой, тот самый желанный, который находит романтику в окружающей жизни, не созерцатель, а созидатель. Короче, всё было логично в этом семинаре. Мы пошли в гастронорм, отметили Борин успех.

Не знаю, почему писатели-наставники не смастерили ему книжку и не взяли в свои ряды. Впрочем, понимаю. У Бори не было необходимой для этих дел назойливости, угодливости, заискивания. И это здорово, за это мы его и уважали. Зато в живом общении успех его был феноменальный. Девушки были влюблены повально, песни звучали повсеместно. При этом он оставался тем же обаятельным парнем без понта, слава его не портила.

Через несколько лет после окончания университета судьба свела нас в редакции томской районной газеты «Правда Ильича», расположенной в центре города. Борис тянул там сельскохозяйственный отдел, а я отдел писем. Он относился к делу серьёзно и ответственно. Знал проблемы района, лучшие хозяйства, знал персонально механизаторов и доярок. Иногда после рабочего дня мы вчетвером устраивали маленькие пиры (двое ещё неназванных газетчиков – Толя Перервенко и Гена Плющенко). Откуда-то (не из соседнего ли «Молодого ленинца»?) являлась гитара. По-прежнему молодо вспыхивали глаза Бориса, взлетал его незабываемый голос. Он пел свою «Чёрную лестницу», Визбора, Окуджаву. И мы позволяли себе подтягивать. Редакционная

работа оставляла время для разговоров о поэзии. Вкусы наши с Борисом достаточно разнились. Но с его подачи я открыл Бориса Корнилова. А вот стихи самого Бори, по-моему, стали утрачивать лёгкость и непосредственность былой поры. Зачем-то начал он править старые вещи. Было у него такое:

*Тайга проснется только в мае,
Ослабнут стылые снега,
И на поляне замелькает
Цветная тень бурндука.*

В последней строке заменил «цветную тень» на «пушистый хвост».

– Зачем? – спрашивал я. – Было так здорово, красиво.

– Ты знаешь, – отвечал он, – хвост понятнее, реальнее.



День Поэзии ТПИ. 1972 год. В центре - Борис Овценов.

Мне довелось выступать вместе с ним в двух разных аудиториях: литературном кружке университетских пенсионеров и у старшеклассников. Он никак не подстраивался к возрасту и находил полное понимание и приятие у тех и у других. Как тут не позавидовать! Кстати, в университете, он сделал мне подарок, сюрприз. Взял несколько аккордов, подмигнул мне и запел: «Всё земное становится ближе...». Это были мои стихи, и мелодия показалось удачно найденной. Потом я сделал вялую попытку записать песню на магнитофон или даже диктофон, но не оказалось под рукой гитары. Так песня и канула в Лету.

Можно вспоминать эпизоды нашего общения, но стоит ли? Разве что вот такой. Мы помогали в переезде дирижеру Томской филармонии Константину Царёву. Его жена была нашей коллегой-газетчицей. Вымотались главным образом на фортепьяно. Инструмент мы корячили на третий или четвёртый этаж. Однако же дотасили, смыли пот, сели ужинать, водка восстановила силы. Дошло и до песен. Боря посетовал, что нет гитары. И тогда Костя, подсев к фортепьяно, стал подбирать мелодии на слух. Ни до, ни после не слышал я Бориных песен в таком сопровождении. И звучало, надо сказать, интересно.

Совсем недавно (года три назад) встретились мы в доме сокурсника Володи Львова по прозвищу Князь. Повод был хороший – приехал издалека Лёша Демьянчук. Сошлись мы на площади Батенькова и двинулись через Каменный мост на квартиру Володи. И тут Боря крепко взял меня под руку и сказал: – Старик, не обессудь, так я пойду увереннее.

Я уже слышал, что Борю терзает болезнь. И стало

маетно на сердце, когда своими глазами увидел это. Кожа на лице подтянулась, был он бледен. А главное, показалось мне, пожухли глаза. Но за столом у Князя все оживились, пошли шутки-прибаутки, воспоминания. И Борис во всём этом участвовал. И прошла маета, и мы как будто откочевали назад во времени – в те дни, когда были полны сил и надежд.

Это была наша последняя встреча с Борисом.

Постскриптум.

Несколько лет назад мой товарищ прислал мне выуженную из Интернета заметку покойного томского писателя Бориса Климычева под заголовком «О Бобе Овценове».

В апреле 1966 года редактор Александр Ефимович Кудинов принял меня в районную газету «Правда Ильича», которая теперь именуется «Томским предместьем». Оказалось, что там работают бард и поэт Борис Овценов, поэт Геннадий Плющенко, прозаики Семен Лайков, и Александр Шелудяков. У Овценова были голубые глаза, он был тихим застенчивым мужчиной, зато Лайков был изрядным нахалом, он нас то и дело подгонял: – Наплюйте на стихи! Материалы про сельхоз-навоз давайте!..

Вскоре я побывал на концерте Овценова. Прекрасная лирика о закоулках и роцах старинного студенческого Томска. Боря пел задушевно, без нажима. Многим нравился. И я посоветовал ему брать гитару в командировки. Он иногда так и делал. Сельская молодежь полюбила Бориса не только как корреспондента, но и как талантливого барда.

«По-моему, что-то здесь не так», – приписал мой товарищ. Здесь всё не так. Борис и Гена оказались в газете Томского района в середине 1970-х. Смешно представить Бориса, выезжающего на поля с гитарой в руках. Впрочем, вот простая биографическая справка, которая всё ставит на свои места.

Борис Иванович Овценов
(11.04.1947 – 12.02.2010)

Поэт, автор и исполнитель песен, журналист. Родился 11 апреля 1947 года в посёлке «Коммунар» Исетского района Тюменской области. В 1966-1967 учился в Томском политехническом институте. В 1968-1969 работал в строящемся северном городе нефтяников Стрежевом, сначала – в стройбригаде, затем – в многотиражной газете. В 1974 окончил филологический факультет Томского государственного университета. Был сотрудником редакции томской районной газеты «Томское предместье». Жил в Томске. Творческий путь его начался в конце 60-х годов в Томске.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



Почти год после смерти Букиниста я не мог заходить в этот магазин. Понимал, что это глупо, ненормально, но никак не мог переступить порог, зная, что не увижу восседающего на высоком стуле хозяина.

Он приветчал особым своим кивком головы, не быстрым, энергичным, а продолжительным, который скорее можно назвать поклоном. Большие глаза его бывали и весёлыми и грустными, но приветлив он был неизменно.

Помню, году в 65-м, школьником из пригорода, впервые общался я с ним, тогда для меня просто безымянным продавцом книг. Приблизившись, начал робко перечислять имена, выуженные из книги «Маяковский в воспоминаниях современников»: Пастернак, Мандельштам, Северянин, Хлебников... Он слушал спокойно. А двое рядом с ним перегля-

дывались и посмеивались довольно откровенно. «Нет, нет, молодой человек», – отвечал мне книгопродавец. Выйдя на улицу и поспешая к автобусу, я с тяжёлой завистью думал об этих приближенных. О, у них-то есть всё, что только пожелаешь!

Тогда я, конечно, и подумать не мог, что хозяин магазина станет добрым приятелем, сначала Владимиром Игоревичем, а спустя годы и просто Володей.

Сегодня нет его с нами. С его уходом возникла пустота, никак и ничем не заполняемая. Остался магазин, который носит теперь имя «Букинист Суздальский». Осталась неизменной приветливость женщин-букинисток: и тех, кто работал рядом с ним, и тех, кто пришёл позже. И по старинной привычке мы назначаем иногда здесь свои встречи, листаем в ожидании интересные книги.

Вот только Владимира Игоревича нет. Да что тут поделать? Разве что вспомнить утешителя нашего Булата: «Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...». Но давайте лучше с полным основанием скажем: а ведь он исполнил своё предназначение. Это редко кому удаётся.

Он стал одной из неповторимых примет нашего города. Он держал в памяти сотни имён людей и помнил их вкусы, интересы. Он замечательно чувствовал собеседника, и я был свидетелем, как легко и естественно текли диалоги с посетителями самого разного нрава, объединяла которых любовь к книге.

Он был человеком культуры. Это банально, но, пожалуй, стоит повториться. Есть работники культуры, выполняющие свои функции от звонка до звон-

ка. А есть люди, без которых она становится этаким книжным, абстрактным понятием. Сильно обделён судьбой тот, кому не встретились на пути живые носители культуры.

Они не обязательно должны быть энциклопедически образованны. Владимир Игоревич основательно знал мир театра. А я всегда предпочитал театру кино и не мог здесь быть ему собеседником. Но он умел слушать. Как-то я рассказал о встрече в Москве с одним из идеологов «новой волны» в литературе Владимиром Салимоном. А вскоре Володя подарил мне два журнала «Золотой векъ» 1991 и 1992 годов под редакцией того самого Салимона, издания сомнительного художественного достоинства, но безусловно уникальные.

Весь Бёль моей библиотеки куплен в «Букинисте». Однажды я признался Володе, что очень люблю этого писателя. «За что же?» – вдруг спросил он. И такой неподдельный интерес был в его глазах, что я стал говорить о гуманизме, о человеколюбии Бёлля. Говорил довольно сумбурно, оттого смущался и сбивался. «Я понял», – сказал Володя и пообещал, что мы соберём всё, что вышло. И сделал это.

А что касается людей и событий в мире кино и театра, слово Суздальского было для меня непрерываемо. Тут я всегда вспоминаю июль 1980-го, когда утром позвонил мне на работу Саша Нечаев и сказал, что умер Высоцкий. Впрочем, он тут же добавил, что такие слухи бывали и раньше, и он ни за что не ручается. Я отправился в магазин к Владимиру Игоревичу. Поразительные дела: почти с порога, разглядев, видимо, мою растерянность, он грустно и утвер-

дительно кивнул. Через какие-то минуты подтвердил словами.

Он был находчив в любой ситуации.

Однажды (прекрасно помню, это был 1979 год) я был рядом, когда Володя принимал и оценивал книги. Очередь продвигалась, ничего интересного вроде не было, я отвлекся и вдруг услышал нарочито громкую и чёткую реплику букиниста:

– А ЭТО я у вас не возьму!

И он отбросил на край стола хорошо сохранившуюся «Роман-газету». Конечно, я среагировал и перекупил у мужичка отвергнутый «Один день Ивана Денисовича». Позже Володя похвалил меня за расторопность и сказал, что только так он мог подать знак, обратить моё внимание, поскольку хорошо понимал, сколько чекистов «пасётся» в магазине, и далеко не каждого можно вычислить.

Не могу не вспомнить первое посещение его квартирки, тесной и уютной. Володя провёл меня в комнату, а сам пошел заварить чай. А когда появился с чашками в руках, от души расхохотался на моё изумление. Было чему изумиться: я не нашёл того, что ожидал увидеть – библиотеки, состоящей из жемчужин и инкунабул. Несколько полок классики, остальное – кино и театр. И многочисленные альбомы с фотографиями и автографами людей искусства. Думаю, не один я был поражён таким открытием.

Он обладал органическим чувством юмора. Как не вспомнить тут наши заседания редколлегии «Сибирской старины», которые я про себя называл не

иначе как посиделками. Сколько перлов рассыпалось в той же пикировке Владимира Игоревича и Александра Борисовича Казачкова. Иногда Володя позволял себе вздремнуть за столом. Мы с пониманием переглядывались. Была в этом какая-то хорошая свойскость.

...Проститься с Владимиром Игоревичем пришло много народу. У магазина «Букинист», где он лежал (и откуда его потом выносили, провожая в последний путь), стояли и тихо разговаривали книголюбые разных поколений. И вот увидел я, что почти всех знаю. Нет, так, чтобы поименно – десятка два, остальных – в лицо. Потому что все мы так или иначе виделись, встречались. А он был объединяющим, связующим, дарующим.

Он был частью реальности, и он сам творил эту реальность. Нет, «Букинист» не был Гайд-парком. Все ребята моего круга знали, какие здесь слоняются глаза и уши. Но никто не мешал нам радостно узнавать друг друга, общаться, острить. В те годы ты шёл в «Букинист» с ожиданием чего-то хорошего. Если не обретения давно желанной книги, то ради нескольких минут душеполезного общения.

Там, в «Буке» (как мы его попросту звали), происходило Исполнение Желаний. Гляжу на свои книги и вспоминаю, как делился с Володиёй некоторыми мечтами и как потом месяц, а то и полгода спустя выкладывал он мне на прилавок то «Дневник» Ренара, то Гессе, то «Катапульту» запретного тогда Аксёнова.

ТОМСК: ЧТО УШЛО, ЧТО ОСТАЛОСЬ

I.

Покидая на время Томск, ты без всякого напряжения уносишь с собой в памяти его неповторимые черты и, прикрыв глаза в минуту отдыха, видишь все чётко и ясно. Этого чего-нибудь да стоит.

Любовь к родным местам спасает. Любовь придаёт неповторимость, очарование улочкам, переулкам, тупичкам, которые другим покажутся заурядными. В идеале удел человека – восхищаться красотой мира. Томск – благодарный объект для этого дела.



На его улицах ты не одинок, даже когда один. Город как будто наблюдает за тобой, нет, не наблюдает, а смотрит тепло и приязненно. Ты это чувствуешь. Всякая, даже самая малая, самая кратковременная прогулка – не только созерцание, она помогает если не разобраться в самом себе, то хотя бы призадуматься. Одиночество здесь, в окружении старых камней и древнего дерева, может доставлять удовольствие.

Удовольствие это проистекает оттого, что глаз не останавливается на мелких деталях, ничто нарочито эффектное не отвлекает тебя. Ты смотришь на всё сразу. И постепенно постигаешь его гармонию – в соразмерности частей храмов, одушевлённости приземистых особняков, в общем покое. Ты видишь, что окружающее строилось без дешёвого преднамеренного расчёта поразить чье-то воображение, что наша природа как-то определяла этот стиль – сдержанный и скромный, но достойный. Оттого это получилось так хорошо, так близко душе и греет её, как должны греть дома в суровые наши зимы.

Всякий город живёт, рождается и старится. Но есть более завидная судьба – не просто существовать рядом, а помогать жить нам. Это про Томск.

Иногда остановишься у какого-то неказистого дома, почти полусарая, и вдруг защемит сердце по причине, самому неведомой и непонятной. Откуда этот неуловимый образ?

Город – не только среда обитания, не только четыре стены и крыша, спасающие от дождя, холода и снега. Это – обиталище душ человеческих, твоих ровесников и предков.

Безмолвны, безъязыки эти стены.

Кто даст им речь, освободит от плена

Молчания, чтобы они смогли

Поведать нам о тех, что здесь прошли?

Вопрос «кто?» в этом четверостишии риторический. Конечно, ты сам.

Будем бродить без спешки, вглядываясь в черты его лица, слушая эхо истории. И услышим цокающую по брусчатке лошадь. Главная примета нашего города, промышлявшего извозом, перешла на его герб. Серебряный конь на зелёном фоне.

И сами старые названия складываются в лёгкую ностальгическую симфонию. Послушайте-ка: Пески, Болото, Кирпичи, Соляная, Заисточье... Или давайте-ка припомним, например, имена женских приходских училищ: Подгорное, Заозерное, Юрточное, Воскресенское, Пушкинское, Загорное, Еланское... Какая музыка!

В старой его части перемены столь незначительны, что несложно при некотором умении пройти сквозь столетия и очнуться в ином времени.

Как-то во студенчестве мы сидели с Володиёвым в тени на Ачинской или в переулке Красного Пожарника. Сидели на обрезке ствола громадного тополя, давно уже без коры, отшлифованного за десятки лет такими вот отдыхающими до металлического отлива. И мой товарищ сказал:

– Ей-богу, не удивлюсь, если сейчас из-за угла выйдет какой-нибудь мастеровой навеселе, с длинными льняными волосами и ремешком на лбу.

Здесь, в этих местах, легко вообразимы те, кого ты никогда не встречал живьём – Григорий Потанин, Михаил Бакунин... Те, кто нашли здесь последний приют перед гибелью – поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет.

Итак, время расступилось, а преодолеть пространство всего-ничего – сойти с главного проспекта и – в гору, откуда, собственно, пошли острог и город. У Воскресенской церкви много лет назад сложились такие строки:

*Приди сюда, где зыбки времена,
Где церковь на горе вознесена
Над городом, навстречу облакам,
Где камень лестниц сдался каблукам
Студента, грузчика, слепца, поводыря,
Где сумерки крадут приметы века
И остаётся в свете фонаря
Вневременная сущность человека.*

.....
*Простёрто на века моё сегодня,
И улица не в сумерки уводит –
В былые и грядущие года,
И вот, как на неведомом пороге,
Вдруг замираешь посреди дороги
В нечаянном раздумии: куда?*

Это не придуманное ощущение. Так и воспринимается необозримое далёко, как будто уезжал на много долгих дней, лет, веков... И что вернулся сюда, сохранив плоть и кровь, тоже не удивляет.

Можно спуститься с этой большой горы по Вокресенскому взвозу и пойти к берегу Томи. Сюда, где в большую Томь впадает маленькая Ушайка, и причалили в 1604 году служилые люди, казаки, которым велено было поставить острог. Царский воевода С.Д. Волховский, формируя в Чердыни отряды для похода в Сибирь по стопам Ермака, понял, что «в Сибирь зимним путем на конех пройтить немочно». И тогда ему велено было дожидаться весеннего вскрытия рек, а Строгановым – готовить «добрые струги» со всем судовым запасом, которые подняли бы на борт по 20-ти человек. Можно предположить, что именно на таких стругах казаки и поднялись к будущему Томску. А следом пришло время дощаника – в XVII веке он стал самым распространённым грузовым судном на реках Западной Сибири. И наконец, появились первые купеческие пароходы. Но это было уже в ту пору, когда близ Томи ставили крепкие дома – из дерева и кирпича – богатые русские и татары.

Дерево и камень – чему отдать предпочтение? Была пора: Томск объявляли столицей деревянного зодчества. Да и как было не плениться его кружевами по карнизам и наличникам, его драконами на коньках крыш, его резными воротами?!

Помню покидавших город молодых людей, так и не ставших студентами. Понятна обида, но в трамвае, идущем к вокзалу, они лопотали что-то уж совсем несусветное: «Да и не нужен нам этот город. Чуть с главных улиц свернёшь – сплошь деревяшки».

Они были не нужны друг другу. И, слава Богу, что город отчасти и сам может выбирать для себя людей.

Оставаясь в стороне от больших дорог и царской и советской империй, Томск не стал полигоном для перестроек и переделок. Не избалованный праздным вниманием, он не стремился быть привлекательнее. Хотя и в нём немал перечень утрат – разрушили Троицкий собор, не сберегли множество замечательных деревянных сооружений, на моих глазах взорвали основательные стены старого базара...

И всё-таки в итоге эта уединенность помогла сохраниться замечательному Богоявленскому собору, которому, сняв купола, пришлось на советское время «притвориться» фабрикой резиновой обуви. И костёлу, и синагоге, и мечетям нынче потребовалась реконструкция, а не воссоздание с нуля.

Однако не могу удержаться и не вспомнить, что хотя и миновала Томск Транссибирская железнодорожная магистраль, именно в нашем городе заседало в 1918 году Сибирское правительство. Пусть недолго, но были мы столицей автономной Сибири!

Ещё интересно: по принятой классификации город наш провинциален. Положение, что называется, обязывает, даже как-то питает честолюбие. Отсутствие суеты стимулирует самоуглубленность, учит не путать жизнь с времяпровождением. Самые образованные, развитые люди, по моим наблюдениям, возвращены провинцией. И лучшие проявления творчества рождаются в силу неразмытости, цельности душевных переживаний.

Мы любим мир за его бесконечные обновления и перемены. Но постоянство – тоже замечательное

качество. То, что не меняется, также достойно любви. И все это очень трогательно в контексте старого города – почерневшие от солнца и ветра дома и вечно, с каждой весной, обновляемая зелень его кустарников и деревьев.

С годами прибавилось вот что. Твой слух наполняют те же привычные звуки любимых закоулков – лай собаки, звонок трамвая, пересвисты неприятельных наших птиц, но в них недостаёт родных голосов, привычного смеха. Остался запах молодых клейких листьев тополя – когда-то самого распространённого дерева города Томска. А людей, любивших эти звуки и запахи, нет.

II.

Не только многие друзья-товарищи навсегда оставили эти места. Не стало и самих мест, где мы встречались, назначая время, а то и вовсе привычно-случайно. Вот, как недавно говорили, навскидку несколько памятных не мне одному точек пересечения.

«БЕЛОЧКА»

Этого места больше нет на белом свете. То есть дом – хрущёвская пятиэтажка – сохранился в своей первозданности. Так же четыре верхних этажа жилые, а на первом – магазин «Ковровый Двор». Но тогда, в наши 70-е и 80-е годы, первый этаж занимала «Белочка» – замечательное сочетание кафе и кондитерского магазина. Сразу от входа в глубине влево – пышущая кофеварка, За нею невеликого росточка Наташа, скромная, но всемогущая девушка. Почему

всемогушая? В пору дневного перерыва выстраивалась немалая очередь. Но верных клиентов, а лучше сказать, друзей кофе, Наташа знала и выделяла. Среди них был Измаил Нухович. Так по имени-отчеству мы величали студента-заочника нашего ИФФ (историко-филологического факультета), человека, прошедшего армейское училище, взрослого, но холостяка, балкарца по национальности, всегда подтянутого, опрятного, бодрого, смуглого и белозубого. Он был одним из фаворитов Наташи.

Несколько раз она увидела рядом с Нуховичем и нас – меня и коллегу-товарища Толика по прозвищу Старый. И вскоре мы тоже оказались в режиме благоприятствия. Для этого нужно было подойти к стойке, чтобы быть узнанным нашей кофейницей и ждать. Наташа умела обслужить своих тихо, не возмущая очередь. Очередник получал свою чашку, и тут же вторая подвигалась тебе. Вы вместе отходили в зал, а она продолжала работу.

Забавно, но я заполучил особый статус и у соседнего прилавка, где делали молочный коктейль. Я любил его не меньше кофе. Как-то стою в очереди. Вдруг за спиной продавщицы появляется ещё одна, машет мне рукой – пройдите сюда. Пospешил к ней. В глубине магазина, за дверью, чувак опускает с машины по доскам железную бочку, надо кому-то подхватить, принять, что я и сделал. И прикатил в отдел. Полагаю, это был сироп – один из составляющих коктейля. Теперь, если на смене была эта тётушка, она всегда спокойно подзывала меня и наливала вне очереди. Очередники глядели на меня с уважением – и хоть бы один запротестовал.

Кого только тут, в «Белочке», не было. Был Володя Бажилов, врач, всегда в безукоризненно глаженных брюках, туфли его постукивали железными подковками. Бажилов заикался, но это его нисколько не смущало. Старый поначалу сказал мне: «Я бы на его месте больше помалкивал», но потом мы привыкли к словоохотливому доктору и терпеливо ждали в речи преодоления известных запруд, за которыми снова весело струился поток до нового переката. Были художники Геша Мозжерин и Вадим Ламанов. Забегали наши сокурсницы, которые стали сотрудниками художественного или краеведческого музеев, журналисты. Были молодые преподаватели университета, бывшие наши сокурсники – далековато от работы, но ближе тогда попросту таких заведений не существовало.

Достойным шагом заходил Гена Скворцов, томский краевед, да что там – одержимый фанат города. Он всегда глядел как бы свысока, задрав подбородок. Нет, не свысока, взгляд его был доброжелателен и мягок, просто поверх голов – так ему легче было уноситься в свои миры. Но без собеседника он тоже не мог обходиться, и безошибочно определял среди любителей кофе людей беззащитных и деликатных – тех, кто не мог его остановить или попросить замолчать. С этой минуты знакомый или полужнакомый человек был обречён. Забавно наблюдать процесс со стороны, но каково несчастному псевдособеседнику. Можно только молча посочувствовать ему.

Разворачивалась излюбленная тема томской старины – это сказано широко, лучше так: раскручивался

один из сюжетов на эту тему. В центре – его, Генины, сокрушительные доводы и смешные, несостоятельные возражения оппонентов. Он мог начать: «И что интересно...», тут же отступив: «Кое-кому это не кажется убедительным...», приправив: «Ну сам посуди», приглашая тебя в понимающие с коротким смешком в адрес неверующих. Хорошо помню, как он обкатывал одно из новых доказательств того, что известный старец Феодор Козьмич, конечно же, ушедший из мира император Александр Первый. Глаза разгорались, руки вспархивали, он разыгрывал ситуацию за двоих – за себя и оппонента. «Мне могут возразить, что...». «Но это же смешно, не замечать очевидного!» . «Есть якобы свидетельство иного рода». «Но всякому ли лжесвидетелю можно доверять». Имена (причём не только томские и русские, но мировые) не оставляли возможности усомниться.

Особая статья – тогдашние калымщики, тоже любившие посидеть за чашечкой кофе – Станислав Божко, Саша Нечаев, покинувшие на время свои теплотрассы, траншеи или кровли. А Лёша Камбалов, сын нашей писательницы Марии Халфиной! Разговор он завязывал с полоборота на какую угодно тему. С ним нередко я забывал, что нужно возвращаться на службу. Иногда просто не мог уйти, не дослушав пассажа о Леви-Строссе или Хайдеггере. Обо всём тут переговорено.

Появлялся интересный персонаж. Да, лучше сказать именно так, потому что все звали его Пушкин – и

в глаза и за глаза. Это уж потом, много позже, узнал я, что имя его Саша, а фамилия Харитонов. Он был удивительно достоверно стилизован под своего тезку. Многие определяли, конечно, обильные вьющиеся волосы, но и лицо – худое, с живыми глазами – помогало законченности облика, явленного нам мемуаристами и прижизненными портретами. И рождалось натурально узнавание. Сам он, кстати, сочинял стихи. Мне не удалось прочесть или услышать ни строки. Может, кому-то повезло больше. Но зато я слышал, как он рассказывал о встрече с Олжасом Сулейменовым. Для той поры это была яркая, самобытная фигура. И поэт, и автор очень спорной с точки зрения учёных-востоковедов книги «Аз и Я». Пушкин не входил в подробности, но передавал благословляющий жест Олжаса – дружеское похлопывание по плечу и наказ: – Пиши, старик, пиши!

Наташа делала эталонный, честный, качественный кофе. Когда несколько лет спустя в новом универсаме на Учебной тоже появилась стойка, мы со Старым отправились туда, чтобы проверить мастерство кофейниц. Наш метод назывался эффект ложки. Если ложечка, опущенная в чёрный двойной была не видна (или почти не видна), технология выдержана. Конечно, и на вкус это проверялось.

А вернувшись в студенческие годы, вспоминаю, как заходили мы сюда с мороза после долгой прогулки от университетской рощи с валяниями в снегу, и Люда Ушакова – недолгая моя подруга – просила конфет, которые назвались именно «Белочка».

«ОСЕНЬ»

Свернув с главного проспекта (имени Ленина, разумеется) на проспект с не менее выразительным именем Фрунзе и, пройдя квартал по левой стороне, ты оказывался возле, как тогда – в 70-е годы – величалось, современного здания (стекло, бетон). Ресторан «Осень». Он возник на месте старой столовой, в которой почему-то всегда висел пар, неизвестно откуда приходящий. А ещё раньше на этой земле стояла часовенка в честь томского старца Федора Козьмича, которого настойчиво продвигают как устранившегося из мира императора Александра I. Всех победил ресторан.

Но массовый посетитель любил не сам ресторан, а его преддверие. Здесь тянулась длинная стойка красного цвета, к ней придвинуты были редчайшие тогда в городе пуфы – круглые полумягкие табуреты тоже красного цвета на вертящейся ножке. Кому не доставалось места здесь, мог располагаться за обычными столиками рядом. Томская профессура любила именно эти простые столы. Но для меня счастьем было, конечно, сидеть и тихо поворачиваться на пуфе туда-сюда, потягивая свой алкоголь. Великого выбора не предоставлялось. Но некая сибирская экзотика присутствовала. Были брусничный и клюквенный коктейли, где водка простёгивалась соком этих ягод. Предлагались вкусные и недорогие бутерброды.

В углу стоял настоящий музыкальный автомат, кажется, болгарского производства. Бросая в щель 15 копеек, ты нажимал выбранную песню и возвращал-

ся к стойке. Собравшиеся слушали навязанный тобой номер. Я описал это место в своих «Прогулках». Позволю себе самоцитирование.

*Помнишь первые кафе со стойкой?
Ты сидишь, задумчиво клонясь
над стаканом с клюквенной настойкой,
но глядишь как родовитый князь.
Твой последний рубль уже разменян,
но пока ещё осмыслен взгляд,
брось монету, чтобы Чеслав Немен
нам пропел, как «dziwny jest ten świat».
Этот свет и вправду свеж и чуден,
это наши, собственно, дела:
мы из общепитовских посудин
пьем, как из божьего стекла.*

Напомню, что Чеслав Немен (1939-2004) – рок-певец и композитор, один из лидеров польского художественного авангарда. А его песня про чудный мир была в ту пору одной из любимых (по крайней мере, в студенческой среде).

Разговоры и споры достигали сильного накала, проходили на высоком градусе (простите каламбур) откровенности. Потом открылось, что здесь работникам органов очень удобно отслеживать умонастроения молодых, и, может быть, пообщаться непосредственно с диссидентствующими ребятами. Помню забавный случай. Неплохо подогретые вином мы развели жестокий спор с незнакомыми молодыми людьми. Тема была рискованной: о свободе. И подсел к нам непонятно откуда явившийся неприятный человек. И вдруг один из наших оппонентов знаками показал мне выйти за дверь, в туалет. Мы

порознь выдвинулись туда, и парень, мотнув головой в сторону столика, выдохнул: «Он из КГБ!». Глядь: подсевший уже катит к нам, разминая в пальцах папиросу. А мы обратно к столику и предлагаем каждый своей стороне: «Хватит, засиделись, пора по домам, продолжим в другой раз». И наш засвеченный агент курит за стеклом, провожает нас сожаляющим взглядом.

Туда же в ранних осенних сумерках какого-то года конца 70-х зашли мы с Мишей Орловым. Сначала о Мише. Жил в Томске (и в Кемерове некоторое время) молодой человек с умным цепким взглядом, худой, острые плечи его сразу бросались в глаза. Был он умён, начитан, ироничен. Причём, ирония его не была злой, он легко смеялся.

Помню наше знакомство. Я зашёл в молодёжку, там работал хороший мой товарищ Гена Плющенко. Он и представил мне своего собеседника: «Михаил». Тот сверкнул живыми глазами, рукопожатье его было быстрым и крепким. Тогда я и прочёл стихи. И сразу понял, что ему придётся туго в общении с теми, кто у нас в городе давал «добро» на выход к читателю. В Мишиных строчках не было местного колорита, трудовой романтики, других неперенных атрибутов проходняка, перечислять которые скучно и грустно. Строки его были крепко сшиты, слова точны, интонации уверенны. Ты сразу воспринимал их энергетику и отмечал присутствие в них освоенной, растворённой мировой культуры. (Я писал о том, как такие стихи принимались на областных литературных семинарах). Разумеется, прохладно. Столичные мэтры искали другое: от земли, от тайги,

от васюганских болот с запахом нефти. Тем не менее, мы в паре таких семинаров участвовали. И вот после окончания одного из них вышли из Дома учёных (где он проводился) не то чтобы побитые, но отверженные, что ли.

Ноги сами привели к дверям «Осени», мы выпили портвейна, расслабились и хорошо поговорили. Не смогу воспроизвести беседы, а сочинять не хочется. Но главное состояло в том, что мы остались «при своих»: не собирались следовать советам наставников, прельщаться газетно-журнальными искушениями. Слава Богу, у нас было на кого опереться – и среди ушедших, и среди живых. Я почитал учителем Кушнера, который отозвался на мои опусы, Миша был в переписке с Кавериним и Межелайтисом.

Вышли в окрепшие сумерки, пожали друг другу руки, опять я почувствовал его крепкую кисть. К сожалению, общались мы редко, по чьей вине – трудно сказать. Миша не дождался прижизненного признания, книга «Травы чужих полей» вышла уже посмертно. Какие сны в том смертном сне приснятся? Узнает ли он там, где «покров земного чувства снят», что областной конкурс молодых поэтов назвали его именем? ...

«ВЕЧНА»

Эта стекляшка на главном проспекте города сохранилась. Но вместо пяти аршинных букв, из которых возникало слово, заставляющее вспомнить Боттичелли и Вивальди, сегодня вашему взору предстанет «МЕГАФОН».* Иные времена, иные песни. Как хорошо, как уютно было за столиком и одному,

и в компании, несмотря на гигантские окна, открывающие тебя городу и миру.

– Здесь в 1999-м с Женей Зыряновым мы отметили завершение вёрстки моей книжки «Линия ветра». Женя, товарищ с университетских лет, стал мастером макетирования, и не мне одному помог готовить книжку к печати. Меня тогда поразило, что он запросто обратился по имени к одной разносчице, потом к другой.

– Да как же ты их помнишь?! – закричал я в восторге.

– Зачем помнить, – возразил Женя. – У каждой имя на бейджике написано.

При моей рассеянности и близорукости немудрено было этого не заметить.

В другой раз я зашёл переждать дождь, чтобы не мокнуть на автобусной остановке. При скудости средств взял кофе и бутерброд, сел ближе к окну. Соседом оказался молодой человек восточного происхождения. Был он печально погружён в себя. Через какое-то время поднял на меня глаза, я ободряюще ему улыбнулся. Прошло ещё некоторое время.

– Вы не поможете мне? – спросил он и, когда я неопределённо пожал плечами, добавил: – Надо жалобу написать.

Из дальнейшего стало понятно, что он нездешний, ездил по доверенности дяди по городу, попал на глаза гаишнику, документ его был изъят, надо выкупать, но он не считает себя виновным. Говорил по-русски не очень, понятно, что с письмом дело было ещё хуже. Я сказал, что попробуем, достал руч-

ку, подошёл к прилавку раздачи блюд, сердечно попросил девушку принести три листка бумаги. Она ушла в глубину. Через минуту-другую вручила мне три чистых листа. Я вернулся к новому товарищу и увидел на столе полстакана водки и вполне аппетитный шницель. Грустный приятель поднял свой стакан сока, предлагая присоединиться. Я слушал его историю по частям, останавливал рассказ и претворял в абзац текста. Мы обозначили время, место, обстоятельства. Мне показалось сочинённое убедительным. Прочёл ему, он горячо согласился, сказал, что это нужно непременно закрепить. Ещё 150 граммов, и мы поднялись из-за стола. Дождь, как и положено, стих. Я двинул на остановку, он немедленно отправился на площадь Ленина, в начальственные кабинеты ГАИ. Не знаю, чем закончились наши труды, но меня грели разливающаяся по крови водка и сознание того, что я помог человеку в беде.

Как-то в самом начале 80-х встретились мне на улице Валера Жданов и Гена Ипатов. Предложили присоединиться. И вроде бы можно пойти в укромный уголок города, но чего-то другого хотелось, тем более что стояла мягкая августовская погода. И что же? Гена просил нас подождать у гостиницы «Сибирь», вышел оттуда облачённым в белый халат, потом перешли дорогу и он с заднего хода проник в эту самую «Весну». Гена появился с пакетом в руке, сказал, что едем на Басандайку. С автобуса №5 мы сошли у поселковой школы, и, пройдя сосняком, отыскали чудесное место: с крутого берега над Томью открывались заречные луга. Гена развернул пакет,

мы ахнули. Почти до заката солнца мы, как разбойники из «Бременских музыкантов», жарили мясо на кусках проволоки и пили вино. Мясом (небывалый в ту пору продукт) нас снабдили работники «Весны», которым Гена сумел представить себя санитарным врачом.

Нет на земле ни Старого (Толика), ни Жени, ни Валеры. Но вы знаете: и сегодня на улицах города они встречаются мне. И я не удивляюсь. Я знаю, что этого не может быть. Но при моём угасающем зрении, отмечая знакомый поворот головы, похожую походку, дорисовываешь облик старого знакомого, провожаешь его взглядом, молча оклика по имени.

Воистину, в таких случаях ты сам обманываться рад.

2013

* Время катит, как мы раньше говорили, «со страшной силой». Сегодня нет уже над бывшей стекляшкой надписи «Мегафон». А есть другая – «Сбербанк». Вошли мы туда с женою оплатить квиток и стали оглядываться по сторонам: вот тут были столики, а тут линия раздачи, а здесь вот... вешалка, что ли?

Содержание

Моя родина	4
Детство. Отрочество	38
Слава тебе, общежитие!	55
Мать и сын	121
Мы существовали отдельно	143
Мои товарищи	170
Витольд из рода Славниных	209
Стала ты светом	226
Книги моей жизни	247
Глоток свободы	269
Ничего взамен любви	286
Питерские мотивы	297
Дни со Смоктуновским	311
Борис	322
Предназначение	328
Томск: что ушло, что осталось	333

Владимир Михайлович Крюков

ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

Книга воспоминаний

Издано в авторской редакции.

Вёрстка *О.В. Карташов*

Подписано в печать 6.10.2014 г.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Bannikova». Тираж 100 экз.

Отпечатанов в ООО «Интегральный переплёт»,
г. Томск, ул. Высоцкого, 28, корп. 1



ТОУНС кітэні А.С. Пруцкіна



19822000340766

Владимир КРЮКОВ
автор поэтических сборников
«С открытым окном»,
«Созерцание облаков»,
«В области сердца»,
«Стихотворения»,
«...вдруг скажется просто»,
книг стихов и прозы
«Линия ветра»,
«Жизнь пунктиром»,
«Мальчик и другие истории».

Член Союза российских
писателей. Живет в селе
Тимирязевском под Томском.